



А. МАКАРОВ

ПАУТИНА

~~Владимир~~

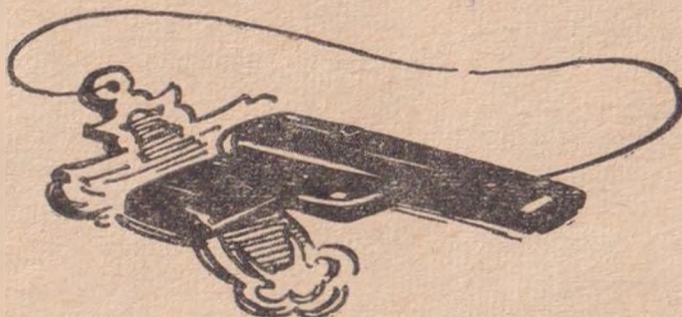
Ганке!

17 октября 1963 г.

г. Кыргызск.

А. М А К А Р О В

ПАУТИНА



*Из записок
следователя*

П Е Р М С К О Е
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1963

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------------|-----|
| I. Грехопадение сестры Агапиты | 3 |
| II. Двойное дно | 26 |
| III. Отдушина | 47 |
| IV. Мать-странноприимица | 68 |
| V. Мечтанья брата Гурия | 92 |
| VI. Еще один братчик | 97 |
| VII. День и ночь | 105 |
| VIII. Обреченная на смерть | 119 |
| IX. В подвале и под солнцем | 142 |
| X. Таков брат Конон | 160 |
| XI. Кровь на тропе | 175 |
| XII. Не пеняй на зеркало... | 182 |

Издание второе

Печатается по изданию 1961 г.

Александр Прокопьевич Макаров

ПАУТИНА

Редактор *В. А. Черненко*

Художественный редактор *М. В. Тарасова*

Технический редактор *К. Г. Сукманова*

Корректоры *М. Ф. Кузьмичев, Л. К. Пономарева*

Формат 80×108¹/₃₂ 2,875 б. л., п. л. 5,75 (уч. пр. 9,43), уч.-изд. 11,2.
Подписано к печати 3/III 1963 г. Тираж 100.000 Цена 49 коп.

2-я книжная типография облполиграфиздата.
Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 775.



І. ГРЕХОПАДЕНИЕ СЕСТРЫ АГАПИТЫ

В погоне друг за другом летели над лесом невесомые светло-серые облака. Верхушки пихт и елей дремотно покачивались, и над мелкорослой бурой чащей неумолчно плыл тончайший гул. В него время от времени врывался то громкий крик, то трепет крыльев взволнованных птиц. Пернатые были суетливы, резвы, но удивительно мирны — ястребок улетал от дрозда, сыч — от малиновки, а дятлы, он и она, щеголяя своими алыми шляпками, самозабвенно танцевали вокруг дупла. Из сумрачных зарослей, к узкой дороге струились запахи свежей соломы, прелой травы и сырости, а от гривки сочного вереска, если ее растереть между пальцами, уже веяло ароматом фиалок. В разрыв

облаков глянуло и ярко вспыхнуло солнце. На черной дороге заблестели лужицы, кое-где просверкнули, еще не успевшие дотаять льдинки. Однако солнышко спряталось так же быстро, как и появилось; по земле пополз холодок, лес опять помрачнел, и звучания его стали резче.

Женщина поежилась, оперлась на батог и встала.

— Пойдем, сестричка, — обернулась она к своей подруге, безмолвно и неподвижно лежащей у придорожной тропы на ветках вереска. — Дело к вечеру, а нам еще верст пяток осталось.

Лежащая потянулась было рукой к своему батожку, приподнялась, но застонала и снова опустилась на землю.

— Еще хоть минутку, — глухо проговорила она, — может, отойдет. По времени-то не срок бы...

— Срок ли, не срок ли, не знаю, а идти надо, — не грубо, однако повелительно произнесла первая. — Ты не волчица, Христос с тобой, чтобы под лесиной...

Она присела на корточки и заглянула в лицо спутницы. Еще утром круглое, полное, чернобровое, с широким носом и небольшим розовым ртом, лицо это стало длинным и тонким, нос заострился, и, быть может, оттого что темные большие глаза были прикрыты, брови женщины казались светлее; она выглядела сейчас старше своих сорока лет.

— Вставай, сестричка. Я котомочку твою понесу; тебя, коль надо, под локоток поведу, доплетемся. Авось, мать Минодора примет нас; авось, у нее не людно. А людно в обители, так мы и в баньке у ней проживем. Банька ладненькая, чистенькая. Нам бы от чужого глазу укрыться да молитву воздать!

— Поди, не осилю. Поясница не моя, да и он бьется...

Женщина легонько провела ладонью по своему высокому животу, точно ласково погладила того, о ком говорила, и открыла глаза. Другая подметила в них теплившуюся улыбку и понимающе улыбнулась сама. Потом медленно распрямилась:

— Чу-ка, сестрица, никак кто-то едет? — торопливо, что с ней случалось редко, проговорила она.

Морща одутловатое с кривыми фиолетовыми прожилками лицо, — в минуты напряжения оно казалось испещренным кровоподтеками, — старшая стала прислушиваться; чуть согнутая фигура ее, длинная и костлявая, в сером домотканом полукафтани с мужского плеча, будто окаменела,

но толстые обветренные губы шевелились, шепча молитву. «Сторожится», — подумала лежавшая, однако с приближением дробного перестука колес и сама почувствовала крадущийся по коже морозец. Поднявшись на колени, она взяла за лямки свой дорожный мешок и, волоча его по плесневелому мху, отползла в чащу.

— Разговаривают мужчина с женщиной, — сказала высокая той же необычной для нее скороговоркой и посоветовала: — Ты бы встала, сестричка: простынешь, мокренько туто. Встань, помогу.

Заморенная пегая лошадь едва тащила кулевозную телегу, поверх примятой соломы на телеге виднелся только зеленый ранец с привязанным к нему закопченным солдатским котелком. Люди шли по той тропе, где еще пять минут назад лежала беременная. Впереди не спеша шагал высокий сутуловатый мужчина в шинели. Одна рука его покоилась пониже груди на черной перевязке, а из-под защитной армейской пилотки выглядывал ободок белого бинта. Женщина была одета по-праздничному, а ее цветастый полushалок, казалось, излучал сияние радости.

«Встретила, — догадалась беременная, невольно позабывшая счастьем незнакомой женщины. — Вот люди встречаются, а я...»

Она не расслышала, что сказала женщина на тропе. Мужчина резко обернулся к жене и удивленно переспросил:

— Минодора?.. Тебя в секту скрытников?.. С ума сойти!

— Не сама Минодора, а, видно, ее подружка, кривобокая такая, прихрамывает. Я ей отбой дала. Одинова, говорю, живем, чтобы не умерши в могилу лезть.

— В могилу — точно! Значит, секта снова живет?

— Видно, так... Знаешь, как мы сделали, чтобы узнать?..

— Ну-ну, расскажи...

Он приостановился, чтобы пойти рядом с женой. Звонкий голос женщины, постепенно удаляясь, слился с многообразным звучанием леса.

Немного отстав от своей спутницы, беременная выбралась из чащи на придорожную тропинку и побрела, лишь усилием воли передвигая вконец отяжелевшие ноги. Уголок темной вязаной шали она держала в зубах, что выдавало ее волнение. Если четверть часа назад тело

женщины разламывала тупая боль и мозг застилала единственная дума — как сохранить ребенка, то теперь у нее будто все застыло внутри. Зато мысли, нахлынув, заматались и загудели в голове, точно пчелы в улье. У Анны было такое чувство, будто она внезапно обрела слух. Слова раненого солдата и его жены донеслись к ней с такой силой, с какой доносится зовущий клич вольной птицы до птицы, заточенной в клетке. Она сразу поняла их значение, но раздумывать над обжигающей истиной услышанного не смела. Ведь все, что окружало ее до сих пор, выглядело либо беспросветно мрачным, либо святым и непорочным. Но слова, сказанные прохожими, не давали покоя. Они тревожили больше, чем кровавая мозоль на пятке. Мозоль она еще утром смазала лампадным маслом и перевязала чистой тряпочкой; но ведь слова не смажешь, ваткой не обернешь — они как живые свербят в самой середине мозга.

Женщине сделалось не по себе. Она собралась уже окликнуть свою спутницу, попросить ее пойти рядом, поведать старшей и многоопытной о вдруг нахлынувшей греховной тоске, чтобы вдвоем отогнать прочь и развеять мысли, но что-то необоримое, похожее на ревность, сковало ее волю. «Нет, я сама, — упрямо решила она. — Пусть Христос свидетель и больше никто. Да скоро ли они исчезнут?! И о чем, о ком, зачем я думаю, о господи!.. О себе, — так весь мой путь теперь освещен твоим неизреченным светом. О ближних, — так у меня их нет; одна душа моя мне ближница и советница, как учишь ты, господи. Ну скоро ли, скоро ли исчезнут?!».

И верно, едва за извилинами тропы скрылись, наконец, белый ободок на голове солдата и пылающий костром полшалок его подруги, женщина вздохнула свободней: быть может, искушения кончились и невольный грех сомнения удастся замолить. Она даже улыбнулась, резко прибавила шаг, но тотчас со стоном присела на тропу: ребенок шевельнулся внутри, и в поясницу снова ударила боль. «А-а, вот оно! — мысленно воскликнула она, вновь ощутив вместе с болью радость материнства. — Вот о ком, вот о чем думала я».

— Сестрица!..

Старшая обернулась и поспешила к спутнице, но та неожиданно махнула рукой:

— Не ходи, сестра, мне лучше!

Она сказала наполовину правду. Боль стихла так же

внезапно, как и возникла, но не из-за этого больная отослала назад свою спутницу; причиной были следы на тропе. Женщина увидела их в тот момент, когда окликнула старшую, и вдруг ее охватило неодолимое желание побыть наедине с ними. Свежие, точно отлитые, на густом черно-земле следы несомненно принадлежали солдату и его подруге. Случись это немножко раньше, странница, конечно, устрашилась бы своей находки, приняв следы чужих ей людей за новое искушение; возможно, снова позвала бы на помощь свою спутницу. Но теперь к ней возвратился прежний страх, страх за будущность своего ребенка.

Женщина брела, глядя на следы, и напряженно думала. В ее воображении отпечатки мужских сапог и женских туфель словно оживали. Будто ведя между собой осмысленную беседу, следы не перебивали друг друга, а время от времени, исчезая с тропы, смолкали, как бы для того, чтобы дать ей самой разобраться в смысле сказанного.

Широкостопный, с подковой на шипах след солдата, казалось ей, вздрогнув от изумления, воскликнул: «Тебя в секту скрытников? С ума сойти!» — и обернулся к следу туфли.

Женщина помнила, что в возгласе изумления будто действительно проскользнул тогда страх сумасшествия, — недаром при этих словах солдат так резко обернулся к жене. Ясно помнилось и то, что в этот момент волглый лист, на котором полулежала странница, показался ей колючим. Но чем грозит все это ее ребенку? Сумасшествием? Ведь он не скрытник, не странник, он только дитя!

Но с тропы, будто наяву, прозвучал голос другого следа. Лункообразный, будто ткнутый батогом впереди идущей странницы, он откликнулся первому тотчас: «Нет дураков, чтобы живьем в могилу лезть!» — и замолчал, словно ожидая чьего-то отклика.

Странница припоминала, что она тогда позавидовала счастливой солдатке. Позавидовала ее лучезарному полушалку, ее бордовому плюшевому жакету и розовому платью. Она позавидовала даже ее голосу: чистый, упругий, как звон струны, он исходил, очевидно, от самого сердца. Сначала умиленная нарядом женщины, потом оглушенная ее словами, странница забыла в первые минуты, кто она сама, где находится и что с ней происходит; только выбравшись на тропинку, она поняла смысл услышанного — и испугалась. «Нет дураков? — спросила она

себя. — А если есть? Не я ли в их числе? Живьем в могилу лезть... Не верно ли это — живьем в могилу? Господи, что это со мной сегодня?.. А с ним, что будет с ним?.. Ведь я не встречала странниц с малютками, хотя беременных видела. Грех бродит с нами по обителям, грех и бесчестие, а младенцев нет. Вон Неонила говорит, что их в мир подкидывают. Сама сестра Платонида этим занимается. Ужели взаправду? А я... я не дам. Не дам! Не поддамся Платониде. Он у меня первенький!»

Она опомнилась, страшно перепугавшись: не крикнула ли последнюю фразу, последнее слово? Но ее спутница спокойно шла впереди своими мягкими шажками. Значит, не слышала, и все обошлось благополучно. Рукавом стеганой кофты женщина отерла пот с лица и, опять закусив уголок платка, побрела дальше. «Вот тебе и Платонидушка, — думала она. — На все руки мастерица. И обратит, и окрестит нас грешных, и с младенцами справится. Вот тебе и убогая, кривобокая да хромоногая. Везде успела. У нас побывала и здешних не забыла, даром что триста верст. Похаживает, попрыгивает!»

Женщина хорошо помнила странницу сестру Платониду, хотя не встречалась с нею ровно год. Это безликое, точно червяк, существо, появившееся на их хуторе с последними мартовскими буранами, было принято хуторянами сначала за нищую, затем за прежнюю монашку. Обойдя все семь дворов и благочестиво побеседовав с женщинами (она не спешила уходить — тут поест, там попьет или просто погрееется), странница к вечеру зашла и в крайнюю избушку одинокой солдатки Анны Дреминой.

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! — произнесла она, глядя куда-то в сторону, от разукрашенной божницы, и поклонилась Анне чуть не земным поклоном.

— Аминь, — сказала Анна, как обычно отвечали гостям ее отец и мать — староверы.

Сама она, выйдя замуж за «поповца», давно отвыкла от этого слова и, если бы не церковь, быть может, и забыла бы его. Сейчас оно вырвалось у нее нечаянно.

Искривленная и будто подпертая посошком низенькая фигурка странницы вдруг стала выше, обтянутое белым платком темно-желтое лицо ее посветлело, безгубый рот вытянулся в шнур над острым клинышком подбородка, а огромные иссиня-черные глаза вспыхнули точно два угля.

— Не забыла древнего благочестия? — не то спросила, не то поощрила старуха, и от ее голоса на одинокую хозяйку повеяло теплом. — Не отринула родительского?.. Дай-ко сяду... Токмо и хвалить — погодить. Пошто идолят деревянных на пречестное место вознесла да изукрасила? Пошто святые медницы в ряд с треклятой осиною поставила?

Она повела вдоль божницы своим огненным взглядом и, не дожидаясь ни ответа, ни приглашения солдатки, проковыляла к столу и села спиной к иконам.

— Не гоже это, Аниушка, — продолжала странница, к удивлению хозяйки называя ее по имени. — Не гоже!.. Ночевать у тебя стану, душа к тебе льнет. Только ты, того, уважь старуху, сокрой от взоров осиновое поповское суемудрие вон хоть тем половиком от порога. Чистого идола не достойны!.. Подь-ко, помоги хламидину снять, тепло у тебя.

Анна до сих пор не могла понять, как это она, потеряв в тот вечер всякое самообладание, оказалась во власти старухи-странницы? Видя мерцающие черным блеском, а иногда вспыхивающие огнем глаза старухи и слыша ее чаще молодой и певучий, чем резкий металлический голос, она делала все, что просила пришлица. Конечно же, она оставила ее ночевать, — солдатка была довольна, что хоть один вечерок побудет с человеком. Помогла старухе раздеться, удивившись при этом, что крытая дешевым бобриком шуба нищенки была на беличьем меху и весила не больше, чем пуховая шаль Анны. Этой-то шалью хозяйка и закрыла иконы, оставив, по приказу странницы, лишь одну медную иконку-раскладушку.

Через час обе сидели за прокопченным чугуном (самовар старуха назвала сатанинской посудиною) и пили кипяток с вареньем. Из уважения к госте, а может быть, скорее из страха перед ней, одну воду без заварки пила и хозяйка. Прихлебывая из блюдца, странница не переставала говорить. Ее воркующий, словно подогретый кипятком и подслащенный вареньем, голос журчал ручейком, а из щели безгубого рта будто выкатывались точеными шариками одно к другому подобранные слова.

— Ведаю, Аннушка, все бытие твое, аки в воду зрю. Батюшка с матушкой припадали ко стопам евангельского благочестия — мир праху их и пресветлый рай душам, идеже праведники упокоются! Ведаю, что дочь

единственную воспитали в посте и молитве. Отроковицей ангелом бесплотным пребывала, былинку притоптать боялась, тварь неразумную не обидела. Аль не так было?

Она обшарила лицо Анны своим мерцающим взглядом; и та, отставив чашку, сунула в рот кончик уголка полushалка. Заметив ее смущение, странница продолжала:

— Ведаю, како девица Анна, заблудши во грех, прогневила родших ее, иновером да табашником, игрателем да скакателем прельстилась. Аль опять лжу? Не затворяй уста, Анна, не согрешивый да не кается, а не покаявый да не спасется!

— Было, — промолвила Анна, сжавшись под взглядом старухи. — Грешна и каюсь.

— Аминь!.. Христос ныне взыскал тебя, грешницу. По велицей милости его ты семнадцать годов нудилась в Содоме и Гоморре, семнадцать годов — нечет в числе-то, разумеи, — зализывала раны на теле своем от смердящего пса, мужем нарицаемого!.. Пошто у попов-златоризцев благодати искала? Пошто в их идольское капище хаживала? Чернорясцы-монахи — грех грехов и суета сует, а златоризцы попы — геенна зловонная. Личина — во святых апостол, а по делом своим Вараввы-разбойники!

По мгlistому лицу старухи прошла судорога, безгубый рот искривился и передернулся, устремленные на Анну зрачки глаз стали острыми, точно вся сила пламенного взгляда вдруг сосредоточилась в них. Анна выронила чашку и сперва даже не почувствовала ожога на коленях: такой хулы церковников она не слыхивала даже от отца. Старуха выпрямилась, вскинув голову, и с новой страстью повысила голос.

— Я, раба Платонида, — возгласила она, уперев сложенные щепотью пальцы в грудь, — провозвестница Христа истинного, господа бога единого, говорю тебе, Анна: восстань ото сна!.. Троюжды прокляни богомерзкое замужество твое, ибо язычник и мучитель твой с поля брани не воротится, яко в воду зрю!.. Христос покарал его. Подох, окаянный, яко Голиаф от десницы Давыдовой, истинно реку. Кинь, Анна, и удобу свою, ибо не твоя она, колхозова; плюнь и отшатнись от нее, как от скверны. Прозрей, слепица, грехи твои бесчисленны есть! Отринь мирское и спасайся покаянием. С покаянием же, раба нечистая, гряди за Христом во царствие его!

Петух в подполье открывал полночь, в семилинейной

лампешке догорал керосин, в избе воняло гарью обсыхающего фитилька; и, быть может, от этого смрада или еще от чего у Анны кружилась голова, но проповедница не переставала говорить. Точно длинную кошмарную сказку выслушав от старухи всю свою жизнь, Анна уже не сомневалась, что Платонида — провидица: откуда же иначе знать пришедшей страннице все Аннины горести, да еще в таких подробностях?.. Солдатка сидела, будто придавленная словами Платониды, а старуха толковала ей уже каноны богохранимой общины «взыскующих града святого», истинно православных христиан странствующих.

— Во свете его узришь свет, Анна! — наконец воскликнула она с неожиданной для ее тщедушного тельца внутренней силой. — Не мудрствуй лукаво над стезей своей, припади к нетленному Иисусу, ибо, зрю, спасешься с ним и возвеличишься!

— Аминь, — невольно прошептала Анна.

Старуха расслышала шепот женщины, по ее плоскому лицу проскользнуло нечто вроде улыбки, она отвернулась к божнице, потом заметно осевшим голосом попросила:

— Поставь-ка триликую медницу в другой уголок, помолюся я.

Приготовив постель для странницы на широкой лавке, Анна постелила себе поблизости на скамье. После молитвы Платонида не вымолвила ни слова, а на вопрос Анны, не низко ли будет под головой, она лишь неодобрительно покосилась на нее и отложила в сторону мягкую подушку. Не успела Анна убрать со стола и погасить свет, как странница натужно захрапела. «Ей думать не о чем, — вздыхая про себя, заметила Анна, — одной ногой она уже в раю... Пророчица!»

Не раздеваясь, солдатка осторожно присела на скамью и некоторое время с благоговейным трепетом глядела на гостью. Через окно на лавку падали белесые блики, и в их мертвенном отсвете уродливое тельце Платониды, вытянутое под простынкой, представлялось еще более хлипким и еще более призрачным, чем при свете лампы. Сухое лицо странницы с круглыми впадинами глазниц напоминало Анне маску, какими в ее молодые годы на святках парни пугали девушек. От этих круглых ямин все холодело внутри Анны; ей казалось, будто под темными старушечьими веками, точно под слоем пепла, то мерцали, то вспыхивали дотлевающие угли.

Истово перекрестившись, Анна легла, но с нею вместе устроились и ее думы; и чем ближе к ней придвигались они, тем дальше от нее убежал сон. Будто разворошенные остроконечным посошком странницы, из всех углов выползали и во весь рост поднимались одно другого ярче, одно другого ошутимее, казалось, уже потускневшие от времени воспоминания. Было и обидно и стыдно, что чей-то чужой глаз — пусть даже всезрящее око провидицы — бесцеремонно заглянул в самые потаенные места ее жизни и безжалостно оголил вконец истерзанную душу.

Да, извилист и греховен путь, которым Анна шла с отрочества до этих дней, но он же и тернист, что угодно богу. Она помнит все и, помня, молится вон тем своим медницам; но разве ее вина, что бог не принимает ее молитвы, не слыша или презревая их? Да, она готова и впредь молиться и каяться, — но как сделать так, чтобы стать ходатайницей перед богом и за себя и за мужа? Ведь бабка и мать с колыбели твердили ей, что жена и в могиле раба своего мужа, а провидица Платонида учит проклясть его, мучителя и язычника. Где она, истина?..

В истинах — как в жизненных, так и в религиозных — Анна заблудилась давно. Единственная дочь благочестивых и не бедных родителей (как писалось в прочитанных Анной «житиях святых великомучениц»), она постигла грамоту не в школе, а от отца — по библии и по псалтырю, воспитывалась бабкой и матерью на ветхом завете и евангелии и лишь к шестнадцати годам впервые одна, без строгой матери, прошла по улицам родного села. Подружка у нее была единственная, слепорожденная и косноязычная Параша, та самая, которую изнасиловал и бросил в колодезь молодой колчаковский офицер. Анну же природа не обидела ни лицом, ни станом; и не ее вина, что до двадцати пяти годов она невестилась. «За коммуниста не ходи: богохульник, — строго наставляли ее родители-староверы. — За комсомольца не моги: тот же коммунист». А ведь сватались. Засылали сватов и беспартийные, только первый был православным, а другой — католиком. Приходил и старообрядец, но уже вдовец с двумя детьми. Анна согласилась было, да снова вмешались родители, и свадьба не состоялась. Над Анной нависало вековещество. И вот весной на село приехал нездешний паренек, не красивый, но с ремеслом шорника, в крестьянском быту незаменим; гармонист и певун, но ведь «с кем грех да беда не

живет», авось с годами остепенится. Был он моложе Анны на четыре года, зато повыше ее на две головы — чем не жених? И Анна впервые пренебрегла заботой отца и матери, ушла из дома. Записались они с Павлом в сельсовет, сняли комнатку и занялись шорничеством. Рукодельница с детства, Анна быстро одолела это ремесло. Зажили на зависть людям. Она ничего лучшего не желала, а Павла тяготило одно: он не знал, куда девать по вечерам свободное время. Ходить с гармошкой в табуны холостяков и орать песни на улице — стеснялся, а изба-читальня — ее почему-то называли народным домом — либо была под замком, либо зазывала на лекции о ликвидации трехпольных севооборотов или организации машинных товариществ. Скуки ради он дважды забрел в церковь, чтобы послушать пение. Понравилось. Любитель попеть, в другой раз Павел сам подладился к хору и с тех пор зачастил к обедням и вечерам. Через полгода, понимающий певец и способный музыкант, он стал церковным регентом. Звал Павел в хор и жену, однако, воспитанная по иным правилам, Анна отказалась, хотя не возражала, что муж прирабатывал в церкви ради достатка. Как-то в субботний вечер Павел пришел домой выпивши. «Провожали старого псаломщика и обмывали нового», — загадочно ухмыляясь, объяснил он жене. Этим новым псаломщиком оказался сам Павел... Для Анны это событие было страшным ударом: дочь исконных старообрядцев, сама старообрядка, она стала женою духовного лица православной церкви!.. Если до сих пор Анна сторонилась односельчан, переживая позор самовольного замужества, то теперь вовсе замкнулась в своей комнатке с хомутами и уздечками, стыдясь показаться на глаза даже заказчикам. Павел являлся пьяным все чаще и чаще. Он угощался либо на именинах у священника, либо на поминках у дьякона, то на престольном празднике Фрола и Лавра в одной деревне прихода, то на Троеручице — в другой, или на крестинах у Петра Ивановича, или на бракосочетании у Ивана Петровича. Выпивал молодой псаломщик по случаю полочки с ктиторм и по поводу дружбы с регентом. В канун крещения, ровно через год после свадьбы, явившись с освящения нового дома сельского нэпмана-лавочника Карнаухова, Павел впервые избил жену и «вышиб из нее» первого ребенка, пятимесячную девочку. Через день, похмельный от крещенского угощения, Павел понес гробик на кладбище и, от двери

обернувшись к жене, угрожающе проговорил: «Больше не смей беременеть! Отец Вениамин отказался крестить ребенка от тебя, от староверки. А какой же я псаломщик с некрещеным дитем?» Выздоровев, Анна решила сходить к отцу Вениамину с жалобой и с просьбой. «Муж — господин жене своей и чадам своим, — сказал священник, выслушав жалобу Анны, а на просьбу ее ответил: — Окрестить тебя мой долг, но прежде налагаю на тебя епитимью при церкви. До праздника святого крещения, когда примешь крещение и ты, станешь блюсти всемерное благолепие храма сего». Чтобы не потерять мужа и, будучи с ним в церкви, попытаться охранить его от пьянства, Анна согласилась принять это тяжкое наказание. В течение года она изо дня в день безвозмездно мыла церковные полы, стирала и чистила покровы и коврики, протирала и начищала деревянную и металлическую утварь. Зато частенько уводила Павла домой трезвым и мирным.

Перед праздником рождества она по приказанию священника протирала паникадило, подвешенное к потолку в самой середине церкви. Стоя на лестнице-стремянке, женщина не заметила, как кто-то вошел в помещение, приблизился к лестнице и встал под нею. Почувствовав на себе чей-то слишком уж необычный взгляд, Анна глянула вниз, схватилась за подол юбки, крикнула: «Отец дьякон, что вы!» — и, потеряв равновесие, рухнула на пол вместе с лестницей. Она видела, как в северных дверях алтаря мелькнул подол серой дьяконской рясы, но сколько ни звала на помощь — церковник не вышел. Окровавленная, Анна выползла на паперть и закричала...

Так потеряла Анна второго ребенка.

Больше она в церковь не ходила; не стал ходить туда и Павел, он вдруг увлекся покупкой дома на хуторе. Анна понимала его по-своему: после неудачной церковной карьеры бывшему псаломщику, теперь лишенному права голоса, несносно было в многолюдном селе, его одолевал стыд. На хуторе Павел пил реже, видимо, на «старую закваску», но пил, а опьянев, бил жену, если она не успевала спрятаться.

Пил и бил потому, что он лишенец и ему «все равно», потому, что мало заказов на шорные работы, потому, что он православный, а она как была так и осталась староверкой. Чтобы избавиться от попреков мужа в их разноверии, Анна купила две деревянные иконы и украсила их, но свою медную, трижды раскладную иконку держала на

той же божнице и молилась только ей, старообрядческой. Чтобы иметь работу, часто бегала в село, выпрашивала у крестьян неисправные хомуты, седелки, уздечки и, обвешавшись сбруей, радостная возвращалась на хутор. Ходила и в сельсовет, вымаливая Павлу право голоса. Наконец восстановленного в избирательных правах Павла приняли в колхоз; работы шорнику хватало — зажили безбедно, однако и тогда Павел не перестал пить и драться, очевидно, по привычке. И так до самой войны.

Осолдатеv, Анна остро почувствовала одиночество. Трезвый Павел любил поговорить; работая, умел спеть, пошутить, рассказать побасенку, а теперь вдруг стало совсем пусто и в доме и во дворе. Соседки, и прежде очень редко заходившие к Анне из-за характерного Павла, теперь почти не заглядывали к ней: все семь хуторянок проводили мужей на войну. Село, где жил кое-кто из близких родственников, стояло в трех километрах от хутора, и Анна ходила туда раз в два месяца за керосином и за спичками. Домой же к Анне Дреминой заглядывал разве только старик-конюх — седелку починить либо хомут перетянуть, но, посидев немного, спешил к лошадям. Новости у деда третий год были одни и те же: «Слома голову напирает фашист на нашу землю, а, слышь, англичанцы с американцами еще и не у шубы рукав!» Правда, по осени забежали к Анне пионерки, чтобы сагитировать ее связать носки либо варежки для фронта; потом побывала сельсоветчица, поинтересовалась, не нуждается ли красноармейка Дремина в помощи. И снова солдатка жила одна-одиношенька. Даже почтальон не заходил вот уже четыре месяца, хотя прежде бывал частенько... значит, незачем... Спасибо, бог занес к ней хоть эту странницу — в избе вроде живьем запахло.

Ночь показалась Анне светлей и короче. Но откуда и как Платонида рассмотрела самые сокровенные стороны жизни Анны и Павла, если Анна рассказывала о них только покойной своей матери? «Провидица, — шептал Анне уже знакомый внутренний голос. — Пророчица!»

Платонида гостила у Анны две недели. За это время Анна наслушалась откровений, каких прежде не читывала и в пятикнижии. Она целыми днями не дотрагивалась до шильев и ножичков, бродя по дому и двору как в тумане. Поздними ночами, после душеспасительных бесед, они уже вместе со странницей молились перед медной раскладной

иконкой. Платонида, по праву наставницы, клала «начал», а хозяйка отвечала «аминем». Готовя постель, Анна теперь закидывала в угол обе мягкие подушки, по ночам часто просыпалась, чтобы снять нагар с фитилька Платонидиной дорожной лампадки и положить установленные проповедницей для грешницы предполночный, послеполночный и предзоровой поклоны. Но в последнюю перед уходом в странствие ночь Анна не сомкнула глаз. Сквозь сумрак и тишину ей чудилось, что вся ее немудрая домашность прощается с нею и жалостливо и строго. Перед послеполночным поклоном что-то зазвенело и зашуршало под печкой. Такое бывало и прежде, и Анна знала, что это котенок играет старой, бросовой уздой; но ей казалось, будто сегодня и шорох уже очень тих, и позванивание слишком нежно. Стало жаль котенка, все-таки целый год прожили вместе. Она позвала его, ласково погладила и посадила на теплую печку. Но едва успела прилечь, как под обоями завозились тараканы, шумно, торопливо, словно спешили вырваться из избы. «Неужто и они чувствуют, что ухожу?» — с жалостью к себе подумала Анна. С улицы доносился скрежет, это скрипел ставень. «Все родное, все своя... худоба! Как бросишь, кому доверишь, навечно-то...»

На рассвете ее испугал петух. Он проорал неистово и, казалось, озлобленно свое заученное, но Анне померещилось, будто петух приказывал ей: про-го-ни-ка! «Провидицу-то? — отвечая своим мыслям, ужаснулась Анна. — Святую... С ума сошел!»

Тотчас после утренней молитвы Платонида потребовала растопить печь. Анна принесла охапку хвороста и разожгла огонь. Помедлив, пока пламя охватило весь хворост, проповедница вспрыгнула на лавку, подхватила обе деревянные иконы, проворно швырнула их в огонь и схватила кочергу.

— Во имя Христа!.. Во имя истинного! — вскрикивала она, нахлестывая кочергой по иконам. — Прах!.. Прах!.. Прах!.. Идольский прах, и аминь!.. Аминь!.. Аминь!..

Старуха захлебывалась, приседала, подскакивала; казалось, что она вот-вот сама впрыгнет в печь и примется колотить по иконам кулаками. В ее огромных глазах металось осатанелое пламя.

Похолодев от ужаса, Анна сидела на полу. Она всхлипывала и протестующе трясла головой. Платонида подня-

ла ее, усадила к столу, разложила перед ней исписанную бумагу и сунула в руки карандаш.

— Подпиши, — приказала она, — именем и... и это самое... бесово тавро.

Как и полагалось истинноправославной христианке странствующей, Платонида не произнесла запретного в общине слова «фамилия», назвав ее презрительно бесовым тавром.

— Пиши!

Как в тумане, Анна видела перед собой какой-то список. «Изба на два окошка... сенцы из досок... погребушка... три курицы с петухом... другая худоба... дарую...» Дальше следовало не менее знакомое: «Луке Полиектовичу Помыткину». Это был двоюродный дядя Анны, и она подписала бумагу.

К вечеру с Платонидой пришли в село. Еще скованная утренним потрясением, Анна не удивилась, что странница привела ее к дяде Луке Полиектовичу. В старинном пятистенном доме стояла сжимающая сердце тишина. Оставив Анну в прихожей, проповедница вошла в светлицу, а оттуда тотчас вышла другая странница, похожая на Платониду и платьем — темным саваном, и белым платком, повязанным под булавку, и серым лицом с фиолетовыми прожилками, даже запахом — от нее пахло ладаном.

— Можно раздеваться и проходить, — певуче пригласила Анну странница. — К святому приятию все готовенько, водичка тепленькая... Вот свечечка.

Окна светлицы были наглухо закрыты ставнями. Перед поблескивающей множеством медниц божницей, в углу, горела массивная трехфитильная лампада. Язычки огней, словно в лежащем зеркале, отражались на поверхности воды, налитой в низкий чан. Возле чана стоял стол, накрытый черной, с гляncем, скатертью. Платонида зажгла на нем толстую свечу, туда же положила медное распятие и приблизилась к Анне.

— Сыми одежды, раба, — полушепотом приказала она. — Кинь в угол. После облачишься вот в это. Теперь взойди в святую купель и преклони колена. Ликом сюда, к престолу. Преклони и голову.

— Раба твоя, Христе боже, предает волю свою в руке мои! — неожиданно пророкотал над головой Анны мужской приглушенный бас; и женщина, точно ударенная по темени, сжалась в словно вдруг поledenевшей воде. — Несть

бо отныне рабы Анны во лоне Вельзевулове, прокляноша и отрякошася от мира диаволова...

— Отрекайся, — шепнула проповедница Анне.

— От... отрека... юсь.

— Беру днесь волю и разум ея, плоть и кровь ея в руке мои. Живот и успение рабы моей в велицей милости Христа, отца моего. Ныне и присно рабу мою нарекаю...

Пока Платонида помогала новокрещеной одеваться, мужчина стоял перед лампадой и молился. Наконец он обернулся к женщинам, и Анна тотчас узнала его. Это был прежний здешний дьякон, сподвижник отца Вениамина и нередкий собутыльник Павла, тот самый, кого она считала виновником гибели своего второго ребенка. Он мало изменился за эти пятнадцать лет. Та же стройная высокая фигура, та же цыганская волнистая борода, кое-где с нитями проседи, те же выющиеся черные волосы, но уже не ниспадающие по крутым плечам, а чуть нависающие над воротником светло-коричневой просторной толстовки. Почти прежними были и глаза — будто пришитые к верхним векам оловянные пуговицы, они, казалось, видели сразу и перед собой, и в стороны, но уже утратили былой блеск, точно их давно не чистили. «Выходит, и он прозрел, если церковь бросил, — без обиды на прежнего дьякона подумала Анна. — И, видно, давно уж, если успел сделаться крестителем. Что же, они грамотные. Выходит, не одни мы, темные, но и ученые люди к богу тянутся!»

От этой мысли на душе ее посветлело.

Он молча благословил ее распятем, она поклонилась ему и благопристойно вышла из светлицы. В прихожей ее встретила странница с фиолетовыми прожилками на лице. Очевидно возбужденное торжественностью момента, лицо старухи казалось сплошным кровоподтеком.

— Как нарекли, сестричка? — шепотом спросила она.

— Агапитой...

— Божье имячко. А я — Неонила, старшая твоя сестра во Христе, самым братом пресвитером к тебе приставленная. Одевайся да и в путь, Агапитушка, семь денечков здесь тебя дожидаяся.

Станница Неонила говорила распевно, девически поджимая толстые губы, и мягко, как кошка, щурила безцветные глаза.

Когда Агапита, надев свою дубленую шубейку, появлялась на голову какую-то тряпицу, — пуховая ее шаль

куда-то исчезла, — через прихожую в светлицу проскользнула сгорбленная старуха. Агапита признала в ней свою тетку, приятельницу и наперстницу покойной матери. Сначала в душе новоявленной странницы шевельнулась обида, что родственница будто не заметила ее. Потом сердце болезненно сжалось от сознания своей отрешенности — она только что отреклась от всего земного и не смеет даже вспомнить своих родных и знакомых. В следующий миг широкие брови Агапиты подпрыгнули вверх.

— А-а, вот оно что! — прошептала она. — Платони-душка... Провидица... Все от тетки узнала... О-о-ох, маминька!

Ни резкий встречный ветер, гулявший по дороге за селом, ни сознание того, что, быть может, навечно покидает родные места, не могли остудить или вытеснить из груди Агапиты обиды на Платониду и злобы на тетку с дядей. «Вот они, родственники, — думала Агапита. — Дяденька... Старичок боголепый... Благодетель, милостивец, последнюю исподку с племянницы снял. Курицы, погребушка... Шаль, шаль и то... Господи! Ты попустительствуешь, ты и наказуешь! И поделом, и поделом мне, поделом!.. Нет, не вернуся, не вернусь, до дна, до дна выпью чашу свою! Куда я теперь голая-то?.. Павел, Павел!..»

...Агапита запрокинула голову, будто для того, чтобы не расплескать вдруг вскипевшие слезы на тропу, потом с тоской оглянула лес и снова невольно перевела взгляд на следы солдата и его подруги. Как, должно быть, счастливы сегодня эти люди! Теплая встреча после долгой и страшной разлуки, обоюдные человеческие ласки, множество самых сердечных разговоров. Наверное, есть чем погордиться друг перед другом, — ведь похвалилась же она ему, как выгнала Платониду. А что осталось у ней, у Агапиты, на этом свете? Павла она, конечно, уже не встретит; будь он жив, между ними глубочайшая пропасть, если даже он и вернется домой. Для него она не только скрытница, как называют общину странников в их стороне, но и бесчестная жена. Единственная надежда и радость для нее — это будущий ребенок. Но как сохранить его, как сберечь, если он благополучно родится? А если сохранит, то куда она с ним денется? Уж коли нельзя оставить дитя при себе, так хоть позволили бы самой подкинуть, ведь нельзя же доверить младенца Платониде. По крайней мере, знала бы, кому подкинула, авось, когда-нибудь проведала бы

тайно, может быть, гостинчик принесла, хоть цветок полевой, либо ягодок из лесу, а может, и поцеловала бы в украдку — охота ведь свое-то, болезное-то. Вот и все ее заботы. Остальное заповедано укладом и канонами общины, пресвитером и наставниками: броди по земле без места и вида на жительство, «взыскупя града Христова»; будь бессребреником, как Христос, ибо деньги — приманка для грешников; таись от людей и избегай необращенных, ибо ересь заразна сильнее мора; с любовью и трепетом неси трудовой послух странноприимцам, ибо они благодетельствуют тебя кровом, пищей и одеждой; постись каждодневно, ибо обжорство — вселенский грех; молись ежеутренне и ежевечерне, ибо только зорняя молитва угодна Христу. Вот это и есть вехи на тропе от грешной земли до рая. Только дойдет ли до него она, Агапита, не оступится ли, не обронит ли свой тяжелый крест?

В задумчивости Агапита не услышала, как ее догнала подвода. Стук колес, видимо, еще не донесся и до Неони-лы, шагавшей далеко впереди. Скрываться было бесполезно. Человек, ехавший по дороге, конечно, давно заметил бредущих тропинкою женщин; и, понимая безысходность положения, Агапита решила, в случае чего, отмолчаться. Она и отмолчалась бы, разыграв роль глухонемой, как это часто делали странствующие христиане при встрече с чужими, «мирскими», если бы в легком беговом тарантасике не увидела благообразного старичка, напомнившего Агапите одного из братьев-странноприимцев.

— Мир дорогой, тетушка! — поприветствовал он Агапиту.

— Спаси Христос, — застигнутая врасплох, не совсем обычно поблагодарила Агапита.

Старичок хмыкнул, попридержал сытого рыжего коня и очень проворно для своих лет пересел из короба на беседку. Был он маленький, седенький, юркий, как пескарь, и голос у него оказался светлый и звонкий, словно серебряный колокольчик.

— Слышь-ко, чего сказываю, — проговорил он увещающим тоном. — Тяжело ведь по грязи с беремем-то... Айда-ко в кузов, в нем и сенцо есть, подвезу за милу душу.

Услыхав голоса, остановилась и Неонила, чуть не до земли пригнувшись под своей тяжелой ношей. Агапита медлила и, покусывая уголок шали, делала вид, что спешит догнать свою спутницу.

— Сядь, Агапитушка, — неожиданно разрешила старшая странница. — Бог тебе простит, не порожняя ведь. Да и мой мешочек прихвати, спинушку разломило.

Вряд ли Агапита взяла бы мешок, если бы знала, что вся поклажа принадлежит Платониде. Сестра-проповедница предпочитала странствовать налегке, взваливая пожитки на плечи своих безропотных рабов и рабынь, а привыкшая к послушанию Неонила помалкивала.

Уложив мешки, Агапита взобралась в коробок. Неонила же отмолчалась на предложение старика и засеменила рядом по тропе. Она шла споро, а старик, придерживав коня, будто для того, чтоб тарантас не трясло на затвердевших комьях грязи и рытвинах, хитровато усмехался ей вслед.

— Куда бог несет? — наконец спросил он, обернувшись к Агапите.

Странница, будто любуясь предзакатным лесом, сделала вид, что не слышит.

— Благодать-то какая! — с притворным удивлением проговорила она, как бы про себя.

— Да, благодать у нас тут за милу душу, — негромко подхватил старик, с любопытством поглядывая на свою пассажирку.

По тому, как пренебрегла его услугами старушонка и как избегает разговора молодая, он догадался, что обе женщины — странствующие христианки. Ему не раз приходилось встречаться с людьми этого религиозного толка, он знал их обычай скрываться и отмалчиваться, но беременную скрытницу видел впервые.

— Вас, мила душа, не обгоняла ли баба в полушалке?.. На пегой лошаденке? — помолчав, опять спросил он.

— И раненый солдат? — почему-то обрадовавшись, не выдержала Агапита, смутилась и ответила рывком: — Проехали.

— Проехали?! Слава богу. Раненый, говоришь? Писал: мол, в голову и в руку; полгода в гошпитале отлеживался, а теперь домой до особенного приказа. Сын это мой, Николай Трофимыч Юрков, а с ним сноха Лизавета. Я, значит, Трофим Фомич, а он Николай Трофимыч. Полеводом робил до войны-то, в нашем же Узаре; а теперь вот, вишь, отвоевался. По телеграфу отбил: мол, еду, встретьте, а где встретить — не выяснил. Может, на станции, может, на разъезде. От нас дотуда и досюда по тринадцать верст. По тринадцать до станции и до разъезда,

вот и гадай: где? Тогда мы так: сноха на разъезд, а я на станцию; и выходит, что ей подфартило... И ладно, и опять живем за милу душу!

Он засмеялся, и Агапита увидела, как на его темных поредевших ресницах заблестели слезинки, а из-под седых нахохленных усов на какое-то мгновение высунулся кончик языка. Пожалуй, рассмеялась бы и Агапита — она любила поддерживать чужую радость, — если бы снова вдруг не заломило поясницу. Женщина досадовала на себя, что опрометчиво поступила, сев в тарантас, — на ходу было легче, — но слезать теперь уже не хотела: она почти год не слыхала живой человеческой речи.

— Заживем опять, — с прежней взволнованностью продолжал старик. — В колхозе живем-то, по имени Азина. Герой это был в наших местах на гражданской войне — то-варищ, значит, Азин. Вот и зовемся: азинцы. Ничего название, ловкое, помнимое. Кому ни скажись — знают Азина. Старый-то Узар вроде позабыли, азинцы — и вся недолга. Живе-ем. Война вот только прищемила. Людей маловато, мила душа! Бабы-поплакушки, ребята-стригунки да мы, дряхлятина — соплей перешибешь, вот те и все добытчики. А робим да еще соседям в «Заре» помогаем! Оно, конечно, кабы не мэтэест, давно бы шары под лоб увели, под холстину бы. Тошно бы без машин пришлось, хоть куда подерни, тошно! Сам-то я нынче не того — был, видно, конь, да изъездился. Семьдесят с привеском на за-горбке да девятых детей воспитал. Одначе копошуся где шатко, где валко. По зимам, по веснам у амбаров ночью, летом вот на этом Рыжке хлеба на полях стерегу. Тоже нужна человечья статья, козла на коня не посадишь. Да, люди-человеки. Мало у нас в колхозе людей, ой мало!.. А ведь есть они, люди-то, в миру, мила душа. Под новый год довелось мне в городе побывать, на базаре тамошнем, — чудо!.. Народищу, что вот этот лес, — темень! Один стоит всякую труху насылат, другой ходит бритву прода-ет, третий кармашковые старые часы за новые втират... Все, видать, мастера спекулянтичать, оторви да брось! Эх, думаю, в колхоз бы вас, лоботрясов, под милицией бы... Да мало ли еще таких, которые шалтай-болтай, а вот поесть-то каждому за милу душу охота!

От последних слов старика Агапита невольно поежи-лась: не про нее ли речь? Будто и нет, но уж очень похоже. Правда, по базарам она не ходит — блюдет канон отшель-

ничества; не продает и не покупает и ровно год не видела денег — блюдет канон бессребреничества; не просто гуляет от обители до обители, от странноприимного дома до странноприимного дома, но работает — с ее рук не сходят кровавые ссадины, а глаза гноятся и чешутся. Разве святой послух у странноприимцев не труд, разве он не идет на пользу людям, хотя бы той же общине, братьям и сестрам-скрытникам?

Старик почувствовал, что странница, слушавшая его внимательно, сейчас не просто отмалчивается, но размышляет. Густые брови ее сомкнулись над тонким синеватым переносьем, полные губы стиснуты, рука, сжимавшая батожок, будто застыла. «Видно, жива еще, мила душа, — с добродушной хитринкой подумал он. — Ну, ин, послушай еще; может, домекнешь чего надобно».

— Да-а, — снова заговорил старик, поплотнее прижимаясь к беседке, чтобы придать устойчивость и телу и голосу. — Десятерых вскормил-вспоил. На своей полоске, бывало, баба с мелюзгой скреблись где серпом, где заступом, а сам либо у Луки Силыча либо у Ерасима Потапыча колотился. Четырнадцать годов, как один денек, отбатрачил. Мозоля-то, гляди-ко, кремневые; эдакие, мила душа, и в могиле не сгниют!.. Не работа была — живодерня. Живодерней ее и звал наш брат, батраки. За что, спросишь, работали? А за одежду да за что пожевать. Только батраку так уж по-батрачьи: хлебушко из отрубя — что Полканке, то и нам; квасок с плесенкой; пинжак альбо шаровары-обноски, может, с пятого тела — на тебе, убоже, что самим не гоже! Не теперешняя пора — пошел возля машины да песенку запел, что заработал, то и съел. Нет! Волчья была пора. Припомнишь все-то, так вот тут вот огнем запалит, в глазах сини-зелены запрыгают! Хм, скажут, слышь, теперь кулаков-то нету. Порешили, мол, волков-кулаков, а я скажу: не всех. Порешили, да не всех. И поспорить могу, что не всех. Иной волк-от овечью шкуру надел, в трущобке затаился да и того, ягушку за ягушкой подманивает да и хамкает. Раз ягушки завелись, так без волка не минуче. Приглядись-ко сама повострее — увидишь. Вот, например...

Старик наклонился поближе к Агапите с явным намерением поведать что-то особенное, но его перебила Неонила. Старуха стояла у развилки дорог и показывала пошком на отворот вправо.

— Слазь-ко, — не подымая глаз, предложила она Агапите, — нам сюдой.

— Ежели вы на Ашью, так не пройдете, — заметно обидевшись, что его не дослушали, сухо предупредил старик. — Мост на мельнице нынче снесло, а по речке еще лед тащит.

Странницы промолчали и направились к отвороту.

Качая головой, старик поглядел им вслед, кряхтя перебрался с беседки в коробок и понужнул коня. Отъехав, он обернулся и, глядя вслед странницам, с сожалением промолвил:

— Ишь ты, как увиливают. Идут-то к нам в Узар, к Минодорушке, а увиливают: мол, в Ашью. Эх вы, ягушки, ягушки!

Разбитая тряской и взволнованная разговором старика, Агапита смутно догадывалась, что колхозник много сказал именно для нее. Она еле дотащилась до тропы, повалилась на землю и, не отзываясь на оклик склонившейся над ней Неонила, заплакала. Неонила приписала ее отчаяние беременности и потому не встревожилась. На своем почти сорокалетнем пути христианского подвижничества она видела много сестер-странниц, попадавших, подобно Агапите, в такое положение; помнила, что все они так же терзались за участь своего будущего ребенка и жестоко страдали, потеряв его после родов. Бесплодная сама, она тем не менее женским чутьем постигала великую скорбь матерей, лишавшихся младенцев в первый же час после их рождения. Где-то в глубине души старушка удивлялась, как могла мать, у которой отняли дитя, оставаться среди людей, искалечивших и обездоливших ее? Для притупившегося разума Неонила этот секрет оставался непостижимым, да она и не желала задумываться над ним — зачем думать о других, если канон семнадцатый общины гласит: «Познай лишь самого себя, и благо ти будет на небе».

Отвернувшись от плачущей Агапиты, Неонила засмотрелась на лес; она до самозабвения любила природу, и в очерстневшей душе старой скрытницы осталось живым едва ли не одно лишь это чувство.

В лесу похолодало, и кончик Неонилина хрящеватого носа чуть-чуть пощипывало изморозью. Дневные запахи улетучились, словно их тоже приморозило. Деревья как бы придвинулись друг к другу; и чем дольше глядела на

них Неонила, тем теснее они прижимались одно к другому, пока не слились наконец в бесформенную темную массу. Не было слышно и птичьего гомона, зато совсем близко что-то гудело ровно, тонко, словно кипел чайник над костром. Взглянув вверх, Неонила увидела телефонные провода. Старуха вспомнила, как по этому звону она дошла однажды до Узара сквозь глухую темноту.

В корчах и столах Агапита лежала все там же на жухлой траве.

— Как хошь, а пойдем, сестричка, — ласково предложила старшая. — Вона звездочки высыпают, не в лесу же ночевать. С версту осталось, дойдем — и на покой. Вставай-ка, подсоблю.

— Не могу, Неонилушка. Конец, видно. Мочи нет, о-о-о... За что меня бог...

— А ты богушка не тронь, он не игрушка! Сама виновата...

— Я... сама?.. Я виновата?!

Скрипя зубами и заплетаясь в подоле широкой юбки, Агапита поднялась и, опираясь на батожок, неуверенно зашагала к деревне. Весь облик ее был ужасен и жалок: ноги подгибались и вихляли, точно резиновые; туловище бросало из стороны в сторону; выбившиеся из-под платка пряди волос мотались по щекам; она бормотала что-то бессвязно и глухо. Неонила испугалась: не сошла ли ее спутница с ума? Шагая за Агапитой по пятам, она разбирала лишь отдельные слова.

— Я виновата? Нет. Только не в этом. Христос свидетель, не в этом. Не мой грех, не мой. Да, да, виновата, только не в этом. Я дойду. Я не дам дите, не дам... Я расскажу пресвитеру... Этому дьякону расскажу... Дойду, дойду...

Вдруг Агапита запнулась, покачнулась, разбросила руки, будто искала за что бы уцепиться. Неонила поддержала ее, обхватила поперек туловища и повела. Почувствовав опору, Агапита поплелась, трудно дыша и всхлипывая.

Наконец они выбрались из лесу и Неонила свернула на знакомую тропинку по-над речкой. На реке бушевал ледоход, но странница не замечала холода. «Слава Христу, доведу, — в душе ликовала она. — Дсведу, доведу. Выпльно пресвитерский послух, не брошу. А то срам-то какой, если опять еретикам попадет: странница — и вдруг

брюхата!.. Господи, пособи!» Старуха помогла Агапите перелезть через изгородь, провела огородом, открыла задние ворота, втощила ее во двор и осмотрелась. В окнах дома виднелся свет; яркий луч лампы упирался прямо в двери погреба, это означало, что опасности нет, что можно помолитвоватьсь. Усадив Агапиту на крыльце, Неонила подобралась к окну, по-кошачьи, ногтем, поскребла стекло и промолвила:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

— Аминь, — раздался изнутри негромкий мужской голос.

— Слава богу, — прошептала Неонила, снимая из-за плеч вдруг невыносимо отяжелевшие котомки.

В доме их встретил старик. Маленький, толстенький, он казался в то же время легким, словно надутым, как резиновый мяч. Узнав, что с Агапитой, он будто подкатился к русской печи, каким-то воздушным жестом открыл душник и проговорил в отверстие:

— Сестра Платонида, подымись-ка...

Услышав это имя, Агапита беззвучно рухнула на пол.

II. ДВОЙНОЕ ДНО

Прохор Петрович Коровин, встретивший вчера Неонилу и Агапиту, сегодня проснулся в наилучшем расположении духа. Прошедшая ночь доставила ему такое наслаждение, какого он давно не испытывал: вопли и стоны, мольбы и проклятия роженицы — господи, чего еще нужно Прохору Петровичу на старости лет? Вполшепота гнусая свой любимый утренний псалом, он почти беззвучно нащепал лучины, разжег самовар, потом налил молока рыжему коту, осклабился в улыбке и пощекотал его жирное брюхо; кот фыркнул и стремглав ринулся под печь — он страшился пальцев хозяина, как огня. Затем старик раздвинул синенькие шторы на всех пяти окнах и принялся за поливку облинявших за зиму бальзаминов и гераней. Коровин делал это аккуратно, нежно, лишь кончиками пальцев прикасаясь к каждому растеньицу, к каждому лепестку. По его круглому, отливающему красной медью лицу разлилось удовольствие; узкие и острые, точно два лезвия бритв, глаза старика поблескивали, серая борода

клином и такого же цвета волосы, стриженные под бобрик, лоснились, а пухлые ловкие руки так и порхали от ведра с водой к цветочным горшкам и обратно. Покончив с поливкой, он вытер руки подолом красной с белыми горошинами рубахи и попутно тронул, будто проверил, крепко ли привязан, небольшой ключик на поясе. Часы пробили восемь раз; старик принес на стол кипящий самовар, плавными движениями расставил посуду с едой и на цыпочках подошел к кровати, разноцветной горкой возвышающейся в заднем углу комнаты.

— Тинь, тинь, тинь — подражая бою часов, пропел он над ухом спящей женщины, потом сказал: — Вставай, доченька, пора-с.

— Слышу... Топчешься, шлепаешь да зудишь, как шмель, мертвого подымешь!

Голос женщины был резким.

— Что ты, что ты, благословенная, как можно-с?! Приступаю шелковой стопою, калошки валеные, припеваю птичьим голосом, не трубно сиречь и не суетно...

— Завел дуду, — недовольно пробурчала дочь и поднялась. — Дай-ка гребень.

Женщина подошла к висячему зеркалу и принялась расчесывать свои длинные волосы. Цвета начищенной бронзы, они свисали вдоль ее стройного стана тяжкими волокнами и, казалось, искрились и звенели, когда она прядь за прядью перекидывала их с плеча на плечо. Старик явно любовался ими, пока не заметил в зеркале холодного взгляда, точно мраморных, серых глаз дочери и ее изогнутых усмешкой толстых, необыкновенно ярких губ.

— Кого это там черти драли? — тем же ледяным голосом спросила она, швырнув гребень на круглый столик. — Всю ночь уснуть не могла.

— Роженица-с, — будто обсосав кончик слова, ответил он, вспомнил о своем ночном бдении и облизнул губы: — м-мучилась в стенаниях.

— На что принял, готовое жрать?

— Из любопытства-с, признаюсь, из любострастия. Можно выгнать, ежели...

Она уложила косы обручами вокруг головы, повернулась к нему; и полные, румяные щеки ее дрогнули не то от сдержанного смеха, не то от возмущения.

— Лучше не придумал? Выгнать... Выбросить суку, чтобы ее чужие подобрали да в больницу увезли, а потом

спросы да расспросы? Никого я не выгоню, сейчас мне каждая рука дорога.

— Знаю.

— Ну и ступай к чертям со своими советами!

— Ты, Минодорочка, завсегда так глаголешь, что по телесам либо пламень, либо озноб ходит..

— Чертей боишься? погоди, они до тебя доберутся. У них про твою честь все записано: и как ты церковные деньги воровал, и как солдаток обсчитывал...

— Минодорочка...

— ...и как дом поджег, и как мою мать защекотал.

— Минодора!

— Ладно, долго высказывать. Наливай чаю.

Почти каждое утро Минодора Прохоровна донимала отца его прежними грехами, а по вечерам беспощадно пугала старика адскими муками и сонмищами чертей. Нет, презирая отца лишь за смерть своей матери, она не корила его прошлым, не склоняла к раскаянию. Ей просто нравилось глядеть, как трепетало от страха его дряблое, оплывшее жиром тело, как щетинились от злости борода и волосы, а узенькие щели глаз становились все шире и шире, пока ей не казалось, что глаза вот-вот выскользнут из орбит. Тогда, вся содрогаясь от внутреннего смеха, она обтирала выступивший на лице пот и через минуту-две начинала с отцом деловые разговоры.

Так получилось и в это утро.

— Вот чего, господин писарь, — усевшись за стол, начала Минодора, назвав отца по его старопрежней, еще царской волостной должности, как называла всегда, если речь заходила о чем-либо важном. — Откуда нелегкая принесла двух этих кикимор?.. Да держи ты чайник-то прямее, чего он у тебя подплясывает, мимо льешь! Слышишь, об чем я спрашиваю?

Старик еще сердился на дочь и молчал.

Он всем существом любил свою Минодору и, посердившись, обычно прощал ей любые издевки над собой, может быть, потому, что в пятидесятилетней женщине все еще видел подростка. Чаше всего гнев старика проходил при воспоминаниях о детстве Минодоры, когда он, потехи ради, учил дочь вешать на нитке новорожденных котят или подбрасывать собакам хлеб, начиненный иголками и толченым стеклом. Глядя, как подымают животные, девочка звонко смеялась и от удовольствия обильно потела, что

до слез умиляло отца. Иногда Прохор Петрович с улыбкой вспоминал, как еще школьницей Минодорочка заставила старуху-нищенку съесть пирожок с крошеным мылом, а нищему-слепцу облила керосином кудлатую бороду и подпалила ее лучинкой. Каждый раз в подобных случаях шалунья получала от отца серебряный полтинник за выдумку и смелость. Набитая дареными полтинниками копилка-совушка до сих пор хранилась в сундуке Минодоры как память о ее детских проделках и родительской доброте.

Единственная дочь волостного писаря и церковного старосты, Минодора лишь мимоходом видывала грабли, косу и цепи. Зато она умела наряжаться и нравиться, и горе было молодцу, попавшему в ее острые коготки. Но нашелся такой (по наблюдениям отца, это был молодой, щеголеватый урядник), который покорила Минодорину крепость, и на двадцатом году девушка «нашла подкрапивника». Это несчастье случилось спустя год, как Прохор Коровин рассорился с церковниками (его уличили в краже) и, примкнув к общине инстинноправославных христиан странствующих, приспособил свой дом под странноприимную обитель. Чтобы скрыться от позора, Минодоре предстояло либо отправиться в странствие — к чему склоняла ее уже тогда известная проповедница Платонида, — либо выйти замуж за одинокого богатого вдовца и уехать в никому неизвестный Узар, за тридевять земель от родного гнезда. Минодора отвергла удел странницы, правильно рассчитав, что лучше быть госпожой у себя в доме, как отец-странноприимец, чем безликой рабой, и предпочла выйти замуж. Вскоре после свадьбы ребенок Минодоры умер, а перед отступлением белой армии она лишилась и мужа: его застрелил квартировавший в их доме каппелевский фельдфебель. Как произошло это убийство, знали только квартирант и хозяйка дома, но фельдфебель в Узар не вернулся, а Минодора на первых порах утешилась тем, что попала в списки пострадавших от колчаковского террора. Видя, что Советская власть не благоволит ни к торговцам, ни к кулакам, и понимая, что для этого сорта людей песенка спета, Минодора решила пойти по стопам своего отца.

По санному пути она побывала на родине, с помощью отца повидалась там с самим пресвитером общины странствующих христиан — скрытников, а через месяц-полтора три дюжих и проворных странника, под видом ремонта,

переоборудовали ее узарский дом для странноприимной обители. Сугубо тайное — что было на руку молодой странноприимице — заведение процветало год от года. Минодора с ухмылкой превосходства взирала на репрессированных нэпманов и кулаков; а когда в Узаре появился колхоз, она одна из первых вступила в артель. Как человеку, потерпевшему от белых и грамотному, ей доверили должность кладовщика. Но с колхозом же к Минодоре пришли и неприятности. Лишившись собственной земли, которую она обрабатывала даровыми руками странствующего братства и сестричества (скрытники работали в поле только по ночам), Минодора лишилась и немалых доходов. Однако это оказалось еще полубедой. Жившие раньше всяк по себе и только для себя, узарцы стали теперь проявлять живой интерес к каждому колхозному двору; и по деревне пополз слухок, что у Минодоры живут какие-то бродячие люди. В те времена это было уже опасно, и действительно вскоре в ворота странноприимицы постучался участковый инспектор милиции с двумя понятыми. Никого не обнаружив, — начальство осмотрело только обе комнаты и подполье, — инспектор все-таки предупредил, что станет наведываться. Минодора и здесь нашлась, обелив себя и перед колхозом, и перед общиной скрытников. Среди колхозников она пустила слух, будто к ней нередко заходил сам начальник милиции, переодетый и подкрашенный, — известно, мол, зачем ходят ко вдове, — а пресвитеру заявила, что на положении одинокой вдовы странников мужского пола она принимать не будет. И ее ожидания сбылись. Ни в чем не повинному начальнику милиции Боброву дали выговор, и он стал вообще избегать Узара. Участковый инспектор, только что женившийся, то ли боялся разделить участь своего начальника, то ли из каких-то иных соображений в дом Минодоры больше не наведывался. Этот же случай помог странноприимице избавиться от лишних посетителей: «Ни к кому сама не пойду и никого к себе не зову, — будто между прочим оповещала она всех и каждого, — меньше сплетен так-то». Непривычные и прежде ходить в дом богача, мужа Минодоры, и его гордой супруги, — к тому же дом стоял с краю деревни на отшибе, — узарцы будто окончательно забыли о нем. Выиграла Минодора и в доходах: сестры-странницы оказались куда удобнее братьев-странников; женщин легче укрывать, дешевле прокормить, они были полезны

днем и ночью, зимой и летом и безропотно повиновались матери-странноприимце.

Эти тревобления и удачи многому научили Минодору, на всяких тупиков она неизменно находила выход; а начинавшаяся война с фашистской Германией не только развязала ей руки в своем Узаре, но и открыла перед ней новые неожиданные источники наживы и обогащения далеко за пределами этой захолустной деревни. Все шло как нельзя лучше, но вдруг над домом, над прибыльным заведением появилась тучка.

— Слышишь, об чем я спрашиваю? — черпая варенье, повторяла она.

— Не глухой, — буркнул Прохор Петрович.

— Ну?

— Не знаю.

— А спросить язык отсох? Догадка пропала?.. Боюсь я, не видел ли этих кикимор кто-нибудь из узарских. Вчера Колька Юрков из армии воротился...

Прохор Петрович не донес ложки с медом, да так и замер с открытым ртом и выпученными глазами: Николай Юрков до армии был активистом, и не вздумал бы он доискиваться и мстить за жену; такого оборота дела в теперешнюю пору своего благоденствия старик никак не ожидал.

— Чего те ожгло? — проговорила Минодора, будто ничего особенного не случилось.

Она не любила, когда кто-нибудь тревожился ее тревогами или радовался ее радостям. На то и на другое, как и на все остальное в собственном доме, хозяйка признавала только свое нераздельное право.

— Я говорю: не встречались ли с твоими бабами Колька с Лизкой? Если бабы той же дорогой шли... Да и Трошка туда же гонял; поди, тоже видел. А видел, так уж беспрерывно обрехал да обнюхал. Знаешь ведь его повадки. На осину бы старого пса, жалко что Гитлер сюда не дошел.

Прохор Петрович вздохнул и глянул на иконы.

— Вызнай у этих мокрохвосток, — помолчав, еще более сурово продолжала Минодора, — где шлались да с кем виделись, а вечером пройди к амбару да Трошку поковыряй. Держишь с ним дружбу-то? Побольше ему на меня жалости, жалобись. Хотя чего тебя учить, ты сам сатану научишь!

— Доченька!..

— Ладно... Слушай сегодняшний распорядок...

— Послух, Минод...

— Не перешибай. Послух ли, распорядок ли, не один черт? Для них послух, а для меня распорядок — лишь бы работали. Вот слушай. Погребную яму докончить и сруб накласть. Гурьку с Капкой на это дело наряди. Кончат погреб, ночью всю ораву на лед, пускай натаскают яму доверху. Льду к берегам целые горы набило от самой мельницы. Да с грязью не брать, догляжу — мордой натychу. Помыть, поскоблить, и покрупнее. В хлевах вымести, а сено на сарае перетряхнуть, на солнышке высушить. Плесень в нем завелась; ни корова, ни овечки не жрут. Овечек пора остричь, скоро им в поле. Варёнку заставь, дура овечек любит. И вот что: нынче Калистрата не буди, пускай поспит; слышишь, чего говорю?

— Понимаю-с...

— Не лишнее ли-с? — ядовито передразнила Минодора, дернувшись всем своим крупным телом. — Много понимаешь, только на горшок не просишься!

Она посопела над блюдцем с чаем и продолжала:

— И вот еще чего, господин писарь, давно хочу сказать, да все забываю, про Платонидку. Ты давай-ка перестань с ней бобы перекачивать. Сам ни черта не делаешь, и ее от дела отрываешь. Просто удивление — соберутся мыт да запор и спорят, шары на лоб, где и чего говорил какой-то Христос про большевиков!.. Два клейменных да меченых!.. Будя. Заставь эту госпожу вязать носки да варежки, работать заставь. На ее херувимские лестовки да ладанки мне на..., тьфу, чуть за столом не ляпнула... начищать мне на них, вот что! Пускай в другой обители их шьет-вышивает, а мне носки да варежки нужны. Если отнекиваться станет, мол, я-ста да мы-ста, проповедница да наставница, — припугни: дескать, Минодора собирается жалобиться пресвитеру за Лизку Юркову... Сука косо-бокая, все было приглажено через трое рук, только бери бабу да крести, а она поковыляла. Жаба! Уж это ли не подарок муженьку-то ее был; так на тебе, упустила, ведьма. Нарочно я готовила этот подарок Кольке, храброму-то воину. Я бы из этой коммунистки в своей обители сейчас веревки вила, лу-у-учину бы щепала... Ы-ых, хромая гадина, сорвала!.. Ты гляди у меня с этой Платонидкой, душ-шу выну!

Минодора ударила ладонью по столу. С дребезгом подскочила посуда. Подпрыгнул на стуле и Прохор Петрович. Он и не предполагал, что неудача Платониды с обращением Лизаветы Юрковой так глубоко ранила Минодору. По-стариковски растерянный, Коровин стоял, держась за спинку стула, как стоял когда-то перед рассвирепевшим исправником, и урывками, чтобы не заметила дочь, прожевывал пищу. «Доберусь я до этой Платониды, — думал он, видя, как одевающаяся Минодора пошвыривает одежду. — Надо же, как расстроилась!»

От Минодоры так и пыхало жаром, когда она проходила мимо старика от вешалки к зеркалу и от зеркала к столу, который они называли конторкой, потому что на нем лежали документы колхозной кладовщицы. На голову выше отца, Минодора отличалась стройностью гибкого тела и белизною лица — она с детства избегала загара. Но самой яркой чертой ее неблекнувшей наружности оставались будто искусно вылепленный нос и девичья припухлость губ чуть выгнутого по-кошачьи рта. Красоту лица несколько скрадывали широковатый мужской подбородок и мраморно-холодный блеск серых глаз. При первом знакомстве ей никто не давал больше тридцати пяти-тридцати семи лет. Одеваться в платья ярких расцветок (даже на работу она не ходила в темном и заношенном) было ее пристрастием, это резко выделяло кладовщицу среди рядовых колхозниц. Но яркие платья, модельная обувь, надушенные косы, а иногда и другая парфюмерия играли еще и роль превосходной маскировки: кто заподозрит в сектантстве этакую модницу?

Взяв конторскую книгу, она погрозила отцу пальцем:

— Чтобы все было как сказано! — и вышла, крепко стукнув дверью.

— Тигрица, — с гордостью прошептал Коровин. — Жалко, внуков нет; тринадцатого апостола, видно, не ей родить!

Однако с уходом дочери старик вздохнул свободней. Он не боялся ее крутого нрава; наоборот, был доволен, что дочь выросла такой и в обиду себя никому не даст, но страдал, когда Минодора безжалостно глумилась над ним самим или, рассвирепев, начинала откровенно богохульствовать. Эти печальные для него явления Прохор Петрович приписывал každодневному общению дочери с безбожниками и надеялся, что с годами ее заблуждения в ересях

пройдут. «Не согрешивший да не спасется», — частенько рассуждал он.

Старик покончил с чаепитием и принялся убирать со стола. И это он старался делать тщательно, аккуратно, словно в прежнем своем волостном правлении готовился к встрече самого губернатора. Начисто перетерев посуду, расставил ее в стеклянной горке, будто в витрине магазина, цветочками наружу. Плотнo прикрыв сахарницы с медом и вареньем, отнес их в подполье и бережно, точно стеклянную, прикрыл за собой западню. Мягкой тряпочкой вытер стол и, пригнувшись, оглядел на свет клеенку — не заметно ли где крох и капелек. Затем он направился к Минодориной постели, чтобы прибрать и ее.

Прохор Коровин всегда гордился своей отменной неторопливостью и чистотою в делах. За двадцать два года писарской деятельности он принял от мужиков восемьсот сорок четыре взятки — аккуратный старик все подсчитал, — но ни разу не поделился добычей ни с волостным старшиной, ни с урядником. С неменьшим тщанием Коровин обсчитывал получавших пособие многодетных солдаток первой мировой войны, но как ни горласта была эта публика, на писаря никто никогда не пожаловался. Отменную сноровку проявил Коровин, составляя список большевиков своей волости для колчаковской контрразведки. Он подписал донос именами своих личных врагов и завистников, трех лавочников, да с таким мастерством, что в подлинности подписей не усомнилась даже уездная чека, разбиравшая дело после ухода белых. И как же было не посмеяться Прохору Петровичу, если погибли и большевики и лавочники, а он остался при круглом выигрыше?! В тот год, когда мать Минодоры вынесли мертвой из жаркой бани, Коровин преуспел еще в одном довольно щекотливом деле. Дотла спалив собственный дом, он убил сразу трех зайцев: как погорелец получил крупную сумму страховых, как странноприимец начисто уничтожил следы тайной обители, а как осиротевший отец обрел долгожданный приют под кровом благоденствующей дочери.

Единственный раз в жизни судьба посмеялась над Коровиным, однако повинен был отец благочинный. Хапнув вместе с церковным старостой Коровиным из приходского сундука, священник вдруг устранился суммы похищенного, повинился перед прихожанами, с головой выдав своего сообщника. Именно с той поры Прохор Петрович воспы-

даа лютой ненавистью ко всем церковникам и принял новую перу — подалше от мирской суеты и людского глаза.

— Несамостоятельный народ, — пренебрежительно говорил он о попах в беседах с Трофимом Юрковым у колхозного амбара. — Несамостоятельный и вредный-с!

Трофим охотно соглашался с ним.

О многих деяниях Прохора Коровина — разумеется, кроме списка большевиков, поджога и скоропостижной смерти жены, — знали его односельчане; разговоры дошли и до дочери, но ведь кто-кто, а она-то уж хорошо знает, что «глас народа» еще не всегда «глас божий». Зато теперь, пдали от родных мест, под кровлей любимой дочери, Прохор Петрович прилежно и аккуратно служил Христу, но, памятуя, что «не согрешивший не спасется», не забывал и о своей тленной плоти.

Перед тем как заправить Минодорину постель, Прохор Петрович призагнул до половины перину и матрац и, блаженно улыбаясь, погладил свою серенькую бородку. На досках двухспальной кровати, обернутые в газеты, лежали приплюснутые пачки сотенных и полусотенных билетов — сбережения странноприимицы за годы войны, плод трудов странствующих братьев и сестриц. Налюбовавшись, он встал на колени и начал осторожно вытаскивать из пачек по одной бумажке.

— Аккуратненькие, — самозабвенно прищептывал он. — Тепленькие-с.

Коровин отобрал четыре бумажки поновей, сунул их в пояс под рубаху, заправил постель и, помурлыкивая все тот же свой любимый псалом, ушел в соседнюю комнату.

Горница служила ему жильем. Крохотная по сравнению с Минодориной комнатой, она имела лишь одно окно, выходящее в густой, нарочно запущенный садик. В красном углу горницы, на приземистой лавке, стоял потемневший от времени сосновый гроб, напротив через горницу возвышался от полу до потолка широкий и богато украшенный иконостас. Если гроб предназначался здесь всего-навсего для устрашения посторонних, коли они ненароком заглянули бы сюда, и ради поддержания авторитета старого странноприимца среди братии, то иконостас играл не намеримо большую роль. Изголовьем к гробу помещался деревянный топчан с постелью, а из-под него виднелся краешек железной шкатулки, к которой и потянулся хозяин, предварительно сняв ключик с пояса. Уложив

деньги на самое дно, Коровин вынул связку тоненьких свечек и прислушался.

— Спят после шуму, — пробормотал он, закрывая шкапу. — Но пора-с!

Подойдя к иконостасу, Прохор Петрович отодвинул в сторону медный образок Христа в терновом венце, просунул руку в образовавшееся отверстие и нажал на невидимую щеколду. Увешанный иконами щиток плавно и бесшумно повернулся на стержне, обнаружив в стене возле печи узенький проход. Коровин вошел в него, притворил за собою щиток иконостаса и, спустившись вниз по пологой лестничке, с силой толкнул массивную дверь. За нею открылся неширокий низкий коридор, освещенный единственным светильником, подвешенным к бревенчатому потолку.

Это и была обитель христиан-скрытников.

По обеим сторонам коридора виднелись дверцы келий, отмеченные иезуитскими крестами. Размахисто и жирно намалеванные кресты казались чугунными и своей грузной тяжестью будто вдавливали дверцы вместе с кельями куда-то в преисподнее бездонье. Келий было шесть, но дверей восемь: седьмая, в конце коридора, более широкая и высокая дверь вела в молельню, и восьмая, ничем не приметная, выводила из подвала в курятник во дворе.

Оглядевшись, старик умилился приятной его душе чистоте и аккуратности. Стенки коридора, дверцы келий, потолок и пол были выскоблены и вымыты добела, по углам и над дверцами топорщились скрещенные еловые ветки, сквозь чистое стекло светильника над дверью молельни просвечивало масло. Однако Прохор Петрович вдруг поморщился: заглушая еловые запахи, откуда-то несло кислотинной, а с мужской половины коридора раздавался клочущий храп. «Эка дерет сатану, — подумал ревнивый отец. — Жаль, что Минодора не велела будить тебя, а то бы...».

Он постучался ноготком в дверцу крайней от лестницы кельи — она-то и была устроена под домашней печью, через душник сообщаясь с комнатой Минодоры, — и негромко помолитвовался.

— Аминь! — раздался металлический голос Платониды с другого конца коридора. — Я здесь, Прохор.

Старуха в черном хитоне стояла в распахнутой двери молельни. Освещенная сзади мерцанием троесвечника и

лампады, уродливая фигура проповедницы показалась даже Коровину зловещим призраком. Отраженный в ее огромных глазах огонек коридорного светильника стал вдруг раздражающе ярким, и, любивший острые ощущения, Прохор Петрович на этот раз почувствовал неприятный озноб.

Он торопливо вошел в молельню и закрыл дверь.

Чуть слышное потрескивание свечей перед полусотней сверкающих медных иконок, жестяная курильница на треножке, струящая сладковатый запах ладана и каких-то кореньев, приземистый аналой под черной парчой с белым крестом по лицевому навесу, пять-шесть толстых книг в деревянных корках на полочке — все это было давно знакомо и привычно Прохору Коровину. Но после залитой солнцем и свежей от обилия цветов комнаты дочери молельня все-таки показалась ему мрачным, глухим погребом; и он возблагодарил судьбу за то, что был только странноприимцем.

— Возносишь? — спросил он Платониду, подавляя в себе чувство невольного трепета перед знаменитой проповедницей.

— Вознесла, — сердито сопя, ответила она, и Коровин уловил злость в ее голосе. — Свечи гасила... Общину не стала будить после ночного непотребия.

— Разрешилась? — снова поинтересовался Прохор Петрович, стараясь ласковым тоном расположить проповедницу. — Мужеска или женска-с?

— Господь узрит, а я, грешница, не доглядела.

— Как тогда в моей обители-с? — напомнил Прохор Петрович известные им обоим давно минувшие дела.

— Не вопрошай всеу!

— Я к тому, чтобы все в аккурате...

— Христос мой покровитель, не ты! — строго прервала Платонида и понизила голос: — Лучше ответствуй мне, чего ради поутру Минодора меня поносила, Платонидкой звала, жабою и ведьмою срамила, братом пресвитером приграживала? Благословенные лестовки и ладоницы мои переченно порочила... Не сама ли, блудница и лихоимка, подверглася слепоте и обману язычницы Лизаветки и меня предала осмеянию и поруганию диавола? Как в воду зрю, провидя истину! Сказано убо Павлом коринфянам: мудрость мудрецов погублю и разум разумных отвергну. А Минодоре молви: буди она, самарянка и сребреница,

глас свой возвысит на мя, елеем Христа помазанную, прокляну вертеп ее и изведу из него странников навечно!

Она, как для удара, вскинула руку к потолку; и от ее яростного взгляда Коровину стало страшно.

— Теперь я почивать пойду, послушников сам разбуди.

Одним дуновением Платонида погасила троесвечник и, подперевшись рукою в бок, поковыляла к выходу. В дверях она обернулась к Коровину и отчетливо строго проговорила:

— Именем местоблюстительницы пресвитера здесь, велю: на послухе Калистрата поставить с Капитолиною. Аминь!

Коровин стоял среди погруженной в сумрак молельни и оторопело глядел на захлопнутую дверь. Хромая, кривобокая старушонка с глазами голодной волчицы, от случая к случаю поднимавшаяся в верхние покои и еще реже общавшаяся и с ним, и с самой странноприимницей, повторила дословно все, что поутру говорила ему Минодора, будто сидела за столом между отцом и дочерью. «Что это, если не ясновидение, не святость? — думал он, ощущая, как сохнет во рту. — Нет, что бы там ни толковал Трофим Фомич Юрков, а святые люди есть, они зримо ходят по земле. Сама сказала: елеем Христа помазанница. Такие слова всякому не вымолвить, так говорят только по наитию свыше. Вот тебе, раб божий Прохор, и откровение. А ведь знал Платониду, почитай, тридцать годов, по молодости охальничал над ней, подтрунивал: мол, допрыгаешь, Платонида, по тайным обителям, родишь тринадцатого апостола, какого-нибудь Платона! И если бы только подтрунивал, а то ведь сам сгорал от похоти к ней, страстно желал ее как безобразного уроды, как чудовище. Слава богу, что отринула! Еще той зимой, когда нарождались колхозы, собирался уморить ее в бане, подложил в угли вереску. Хотел потешиться, наглядеться, как станет хромоножка корчиться возле бани на снегу. Не пошла!.. Неужели тогда уже ясновидела?.. Господи Иисусе Христе, грехи-то какие! Ад ведь, ад без дна и без покрова! Придется прощения просить, благословения вымолить — не согрешивый, мол, не спасется. Да молиться, молиться надо денно и нощно, колени в струпья измочалить, чтобы на лбу короста кровоточила, жёлуodem питаться, язвительные вериги надеть, в смертном саване странствовать, да с гробом, с гробом за плечами!»

Коровина с такой силой охватило чувство самоуничтожения и подвижничества, что в задумчивости он не заметил, как открылась дверь молельни и на пороге появилась молодая девушка. Глупо ухмыляясь бледным костлявым лицом, она некоторое время смотрела на Коровина, потом впопыхах шлепнула ладонями по бедрам и прокричала:

— Куд-кудах!.. Прощка, медведь полосатый, чё стоишь да шопчешша?.. Выдь, погляди, куды солнышко-то упорол, Хозяйка придет, чё забает? Буди ораву да айда на двор!

— А-а, Варёнка? Иди-ка, чего скажу...

— Не пойду, ты и подля иконов шшокотишь!

— Полудурье!..

С Коровина мигом слетело благостное настроение. Он подскочил к девушке, стиснул ее обвислое худое плечо в своих пальцах, проворно втащил в молельню и запер дверь.

— Слушай, Варвара, да на ус мотай, — вполголоса заговорил он, не разжимая пальцев, хотя девушка пригибалась все ниже и ниже к полу. — Покуда я Гурию, Неониле да Капитолине во дворе послух даю, ты разбуди Калистрата. Скажи ему, чтобы брал лопату, топор и шел на погреб. Скажи, там Капка ждет... Ну?

— Хозяйка шкуру сдерет...

— Заступлюсь, — значительно произнес Коровин, разжимая пальцы. — А тебе преполную чашку варенья наладу и вот этакий кус хлеба отрежу.

— Омманешь!..

— Но если скажешь Минодоре, медведю отдам!

Девушка вдрогнула всем телом.

— Иди, Варёнка, делай.

Варвара была коми-пермячкой и выросла в прикамских лесах. Ей шел тринадцатый год, когда она, собирая грибы, столкнулась с медведем, и подруги вывели ее из леса повихнувшейся умом. Сирота, она два года жила в доме инвалидов, пока одна из странниц не «спасла ее из рук еретиков» и не сманила с собой. Скрытница привела девушку к Минодоре и вручила добычу странноприимце в качестве подарка. С тех пор Варёнка, зарегистрированная в сельсовете как душевнобольная племянница Прохора Коровина, жила в доме Минодоры девятый год. Узарцы начинались о ней — об этом неустанно напоминала им сама Минодора, — но редко кто видел девушку вблизи.

Говорили — опять же со слов Минодоры, — что «недовольная умом» девка до смертушки боится чужих людей, а как увидит незнакомого, так либо улепetyвает без оглядки, либо валится в падучей, но что все Минодорино хозяйство лежит на ней да Прохоре Петровиче. Что Варёнка боится незнакомых, Минодора доказывала на деле, и устраивала это просто. Прохор выводил Варёнку на улицу, садился с ней на лавку возле погреба и ждал появления кого-нибудь из узарцев. С приближением человека ко двору старик шептал: «Медведь!» Варёнка, истошно крича, мчалась во двор и с грохотом захлопывала ворота. Со временем узарцы стали обходить дом Минодоры стороной, разговоры о проживании в доме кладовщицы бродячих людей сошли на нет — где уж там при такой боязни, — а насмерть запуганная Варёнка страшилась выглянуть из ворот. Убедила Минодора узарцев и в том, что по хозяйству работают лишь Варёнка и Прохор. Раза два-три каждое лето старик отправлялся с девушкой в огород, поручал ей какую-нибудь пустяковую работу, показывал кусок сахару и заставлял петь. Варёнка работала и орала. Она пела что-то на своем родном языке дичайшим голосом; и все, кто слышал ее в эти минуты, либо жалостно усмехались, либо затыкали уши и бежали мимо, но все убеждались, что худоумная девчонка и старик работают не покладая рук.

Так Варёнка при помощи старика Коровина служила надежным щитом для проделок странноприимицы.

Маленькая, худая, будто слепленная из сучковатых палок, с белыми и косматыми, как нечесаный лен, волосами, вечно голодная, снующая по дому и двору, Варёнка обладала действительно золотыми руками и какой-то дикой, неистощимой энергией в работе. Беззащитная и безответная, она была здесь рабою рабов.

— Варёнушка, помой мои обутки, — сказала вчера Неонила, передав Агапиту на попечение Платониды. — И одежду почисть. Беленький сухарик подарю... Устала я до смертушки!

Неониле не потребовалось повторять свою просьбу: девушка приняла ее как приказ и немедля сделала все.

Незаменимой оказалась Варёнка и как потешница. Еще в доме инвалидов какой-то негодяй научил девушку непристойным частушкам. Очутившись в узарской обители, она, на свою беду, спела одну из них в присутствии хозяйки. Любительница «остренького», Минодора заставила

дурочку петь перед собой. Варёнка получила кусочек сахара и похвасталась, что она знает еще «припевки с картинками». Минодора положила на стол другой кусочек сахара, и дурочка запела с приплясом. Это были частушки с дикарскими кривляниями, насмешившие странноприимицу до икоты. Необычный хохот дочери возбудил любопытство Прохора Петровича. Он приоткрыл дверь из горницы в комнату и долго стоял против щели, пожирая вихляющуюся девушку похотливым взглядом. С тех пор Варёнка превратилась в потешницу для Минодоры и в усладу для старика: странноприимица развлекалась частушками обоего сорта, странноприимец же предпочитал «припевки с картинками». Однако пение и пляска Варёнки для хозяина отличались от развлечения для хозяйки. Если Минодора, потешившись и пропотев до мозга костей, приказывала дурочке тотчас позвать Калистрата, то Прохор Петрович и начинал и кончал дело более тонко. Он выжидал, когда дочь отправлялась на работу, а братство и сестринство — на послух, запасался куском сахару или ломтем смазанного медом хлеба, заманивал Варёнку в молельню, заставлял «играть картинки». Девушка смутно помнила предыдущую игру и сперва отлынивала, затем пыталась напугать старика медведем и даже рычала, ощерив крепкие зубы; но страсть к меду и сахару была в ней сильнее боязни, и она принималась «играть».

Когда дурочка уже еле держалась на ногах, наступала очередь Прохора Петровича. Он бросал сласти на аналой, палил девушку на пол и принимался щекотать, как щекотал кота в горнице и овец в хлеву. Затем он поднимал оцепеневшую девушку на руки и, с трудом шепча молитву, относил в чью-либо келью.

Минодора давно знала о нечеловеческой похоти отца — подарком же в ее родном селе поговаривали, что мать странноприимицы погибла, защекотанная мужем в жаркой деревянной бане, — догадывалась о его «игре» с Варёнкой; но стоило ли шуметь об этом без видимой пользы: пускай потешится старик, дурочки не жалко. Слыхала о проделках своего старого дружка и Платонида — поэтому-то в свое время она и не пошла в натопленную для нее Коровиным баню — и всегда была начеку, избегая оставаться наедине с неугомонным греховодником.

Поставив на послух брата Гурия и сестру Неонилу, — один чистил хлев, а вторая перетрясала и сушила сено, —

Коровин вышел из скотного двора и направился под навес, где Варёнка стригла поваленную наземь связанную овечку.

Девушке внушили, будто медведь — так же, как за нею самой, — постоянно охотится за овцами и коровой, и Варёнка до самозабвения любила скотину. Подоив корову, дурочка нередко подолгу ласкала животное, нашептывая в мохнатое рыжее ухо нелепые рассказы о злодействах косолапого-полосатого. В ее представлении медведь был полосатым зверем: быть может, таким он показался ей тогда, в осеннем лесу.

Черная овечка лежала перед стоящей на коленях Варёнкой и похрустывала пшеничный сухарик, подаренный девушке Неонилой. Костлявое веснушчатое лицо Варёнки было сосредоточено, кончик языка то выскальзывал, то исчезал в уголке бледногубого рта, ловкие, быстрые руки с тонкими пальцами отщелкивали ножницами клочок за клочком, и густая овечья шерсть войлоком отваливалась на подостланную дерюгу.

Коровин с минуту постоял, любуясь аккуратной Варёнкиной работой, потом присел по другую сторону овцы и, потянувшись лицом к девушке, полусшепотом спросил:

— Разбудила?

— Ага, — так же ответила Варёнка.

— А где он?

— Обуватца, да одеватца, да умыватца ишшо... Вот уж, куд-кудах, шарашится, медведь полосатый!

Коровин глянул назад и распрямился.

Из дверцы пристроенного к дому курятника вылез человек в коротком пиджаке, крытом вылинявшей синей холстиной, в таких же стеганых штанах и бурых валенках с глубокими кожаными калошами. Он был огромен и страшен: косматый мех черной бараньей шапки будто сросся с его сизой курчавой бородой, а среди этой дремучей растительности торчал длинный мясистый нос. Мужчина обшарил двор настороженным взглядом и, опираясь на железную лопату, как на хрупкую трость, подошел к Коровину.

— Почтеньице Прохору Петровичу, — мягким голосом сказал он.

— Здравствуешь, Калистрат Мосеич.

Глубоко израненное оспой, на редкость свирепое лицо Калистрата просветлело: ему не часто приходилось раз-

говаривать с самим хозяином дома, и никогда еще тот не называл его по имени и отчеству.

— Значится, в погребушку? — заискивающе спросил Калистрат.

— Ежели по охоте-с...

— Благодарствуем, хоша поразомнемся, завсегда рады...

Коровин махнул рукой.

Калистрат, по-медвежьи неуклюже переваливая длинное туловище на коротких ногах, зашагал к погребу, откуда доносилась возня его сегодняшней напарницы Капитонины. Прохор Петрович посмотрел ему вслед и с жалостью подумал: «Дубина стоеросовая, а бесплоден, тьфу! И кому все Минодорино гнездышко достанется?» Оценивающим взглядом он обвел добротные постройки и покачал головой.

Еще покойный муж Минодоры обнес двор высоким и плотным забором, прибавив по его гребешку доски с щетинкой гвоздей: удалившись от деревни на высокий пригорок, богатый мужик боялся воров. Минодора старательно поддерживала постройку ремонтом, более всего заботясь о том, чтобы не оказалось щелей и дыр ни в заборе, ни в воротах. Двор был надежной крепостью странноприимницы и укромным гнездом всякого рода скрытников; но ходы, лазейки и тайные запоры в этой крепости знал лишь тот, кому Минодора бесспорно доверяла.

Коровин всегда любовался хоромами дочери, но сейчас, вспомнив разговор с Платонидой в молельне, лишь горько усмехнулся: зачем ему думать о бренном и тленном, если он решил не теряя ни минуты предать себя в руки Христа-бога? Его душу сейчас должно смущать только одно: как сообщить Минодоре об откровении Платониды, какими словами передать свое искреннее убеждение в святости проповедницы?

Размышляя, Прохор Петрович вышел за ворота; когда скрытники работали во дворе, в обязанности старика входило сидеть на улице и наблюдать. Сам он не шутя называл это псиной службой, а дочь новым словом — бдительность: такая предусмотрительность ограждала двор от нежелательных и случайных посетителей.

Усевшись на лавочку возле стенки погреба, Прохор Петрович собрался было дать волю своим святым мыслям, но уже через минуту из его головы словно выдуло

и ясновидение Платонида, и его собственные подвижнические замыслы. Сначала он услышал осторожное покашливание Калистрата, затем глухие удары то ли топора, то ли железной лопаты, видимо, о мерзлый грунт и, наконец, едва различимый голос Капитолины:

— А ты зубами, зубами... Вон они у тебя какие, как у каркадила на картинке!

Капитолина так же негромко засмеялась, но Коровин еле сдержался, чтобы не постучать в стенку, — что если бы он не сидел здесь на карауле и кто-нибудь шел бы мимо да услышал этот смех?.. Недаром они с Минодорой ненавидели эту взбалмошную девчонку, и будь сейчас в их обители другие странники, ей бы немедля указали на дверь. Но община скрытников давно и заметно поредела: изменились времена, изменились люди, сейчас рад и такой свиристелке. Приходится удивляться Платониде — что хорошего, благочестивого, ну хотя бы разумного, нашла она в этой девчонке, приобщив ее к христоролюбивому сестричеству? Воспитует девку на евангелии да библии, ждет пресвитера, чтобы крестить нечестивицу в священное странствие, имя ей из древних приготовила... Зачем это, на что надеется, что провидит? Теперь одно ясно: святая зря не набросится, провидит какую-то пользу себе и общине. А в общем-то девчонка как девчонка, вся на теперешних схожа. Ни велика, ни мала, но кругла, даром что, кроме редьки с луком да ячменной каши, ничего не видит. Волосенки, как помятая ржаная солома, к тому же стрижена. Лицо, все равно что у всех русских девок, белое с розовинкой. Глаза будто синькой смочены да лаком крыты. Рот только и закрывает, когда ест да губы лижет, а в остальное время языком молотит, хотя и невеста семнадцати годов, — ну какая это странница? А пуще всего — платье. Оно будто и черное, и сшито без затей, и даже заплатки на локтишках, но уж если из-под подола коленки видать да ремнем с железной бляхой подпоясано, — на что похоже?!

Прохор Петрович хотел сплунуть и растереть, но воздержался и с усилием прислушался к негромкому разговору за стеной.

— Вы, Капа, шибко зеворотые; отвыкши мы от этого, даже боязно, — говорил Калистрат, как показалось Коровину, слишком уж ласково.

— Испугался, что дезертиром назвала? — сказала де-

пушка. — Так ты дезертир и есть; хоть шепчи, хоть кричи, а факт налицо. В армию не пошел? Не пошел. У секты в подвале скрываешься? Скрываешься. Хороших людей трусишь? Трусишь. Выходит — дезертир, враг военного времени; и не сопи, и глаза не выпяливай. Я тоже дезертирка, но шары не выпучиваю, и не соплю, и не возмущаюсь. Из фэзэо удрала? Удрала. Школьную обмундировку украла? Украла и на барахолку сбагрила. Платье да ремень остались. И теперь без паспорта и без денег, и в секте скрываюсь, и, как ты же, людей боюсь — факт налицо!

— Потишай бы, Капа: ухи рвет...

— Не ухи, а уши. Думаешь, мои не рвет?.. Эй, эй, на мою позицию не лезь, свою копай: не люблю глядеть, когда ребята девчатам разные нисхождения делают!

— Извиняемся...

— Думаешь, мои не рвет?.. На-ка, оскреби мою лопату своей. Спасибо... Ну, теперь вот и я в секте, ну, спасаюсь, шкуру свою спасаю. Ну, сперва даже интересно было, даже страшновато как-то, все за Платонидин подол держалась, а сейчас только смех долит. Все молятся, молятся, молятся, все аки, паки да яки, сестрица да братец. А какая мне сестрица хоть бы та же Платонида? Или Гурий — какой он мне брат?.. Эх, и сволочь же он, наверно, если по его петушиным глазам поглядеть! И еще привирает, что он-де дырян. Тьфу, рыжик!.. Опять ты на мою позицию? И не пиль на меня зенки; не люблю, когда ребята... Уйди, уйди, сама докопаю, капывала. Ну, и дальше чего? А дальше в одно распрекрасное время вечером либо утром накроют нас с тобой, двух дезертиров, и — статью, и факт налицо. Я еще в школе была, когда двух наших таких же субчиков накрыли в Свердловске — и по три года: не дезертирь в военное время и не воруй обмундировки! А третий добродольно вернулся в школу и строгачом отделался. Правда, еще полгода учебы добавили. И все, и теперь уже на станке закручивает. И я решалась вернуться, вот честное слово, решалась; да эта кляча, Платонида, прилипла, въелась, как кислота в чугунину... А теперь уж поздно, теперь пропала я!

В груди Прохора Петровича кипели и негодование и торжество. Как бы то ни было, но эта девчонка крепко сидела в руках Платониды; что ни говори, война помогла общине вновь подняться на ноги, умножиться, хотя бы вот такими Капитолинами. Святая знала, кого брала, знала, на

что брала, и уж, конечно, знает, как укротить змееныша. Девчонка пугает Калистрата арестом и судилищем, а сама боится втрое: дезертирка, воровка казенных вещей, скрывается без паспорта — и все это в военное время! — за такие штучки по головке не погладят.

— Если здесь не поймают, все равно пропала, — продолжала Капитолина. — Мать за подворотню не пустит. Она звеньевая в колхозе и теперь уже знает, что я в дезертирах. Паспорт не получишь, хоть как юли; значит, и работа пикнула!

— Да-а, положение, как наше же...

— Ну уж фиг! Твое — могила, верно, а мое... Я теперь опомнилась. Зимой без пальто не могла, а теперь — фиг! Дождусь тепла и, как щука, только хвостом вильну из этой каторги! Вильну — и в город. Воровать начну. Уж если поймают, так осудят за кражу — меньше позора, а потом работу дадут.

Чуть не порвав ворот рубашки, Коровин растегнул верхние пуговицы. Он трясся от прилива одному ему понятного желания, скрежетнул зубами: не щекотать, нет, истязать! Тотчас ринуться во двор, в погреб, швырнуть Капитолину наземь и топтать сапогами до тех пор, пока ее тело не станет прахом, лоскутом, жижей... Старик вцепился пальцами в край лавочки, ощутил острую боль в кистях рук, вздрогнул и в изнеможении откинулся на стенку погреба. Посидев так некоторое время, он вновь прильнул ухом к стене и затаил дыхание.

— Вы храбрые, Капа, — с одобрением проговорил Калистрат.

— А чего мне бояться? Я теперь все видывала. Нынче ночью видела даже душегубство...

— Потитай бы вы...

— Да оставь ты канючить, потитай да потитай! Пилюля ты, а не мужик! У меня и без твоего потишай глотку перехватывает после этого самого... Видел бы ты, как она дитю...

— Подбросьте-ка топорик...

— На. Я бы ее, гадину, самое так!

— А если они вас?

— Не боюсь: знаю, что за меня пристанешь, — ответила Капитолина, и Коровину почудилось, будто эти слова проговорила совсем маленькая девочка. — Ты думаешь, не видно, что я тебе глянуся? Факт налицо!

— Капа!..

— Теперь ты потише. Зачем топор-то бросил? Подыми. Подыми да унеси в келью. Если кто на меня налетит, так ты с топором. А я, знаешь, чем тебе отплачу?.. Знаешь чем?.. Знаешь?..

— Капа, да мы же... Эх!

Под пригорком на конном дворе взревел трактор. Вскоре он с рыком и дымом выкатился на улицу, волоча за собою вереницу телег. На телегах вздымались груды мешков с семенами и удобрениями, громоздились многолемешный плуг, дисковая сеялка, какие-то слуги и доски, а на самой последней сидели люди. Держась друг за друга, женщины, девушки и молодые парни, смеясь, что-то наперебой кричали шедшим сзади Трофиму Юркову и Минодоре. Так же смеясь, Трофим Фомич помахал Прохору Петровичу шапкой и что было силы крикнул:

— Первая борозда!

Но Прохор Петрович видел среди всех только Минодору. «Вернуть или не вернуть ее, сказать или не сказать?» — мучительно думал он, чувствуя, что в голове путаются мысли при воспоминании об откровении Платониды, о ребенке Агапиты, дерзкой речи Капитолины и топоре Калистрата. Такого душевного смятения старик еще никогда не испытывал.

III. ОТДУШИНА

— Лизута, может, отдохнешь? Посидим? Новости имею!

Внезапно появившись в огороде, Николай Юрков с ходу бросил на траву полевую сумку, отстегнул ремень, положил его туда же и обернулся к жене. Лизавета доделывала грядку под огурцы. Огуречная грядка из бурого навоза и чернозема возвышалась над плоскими грядками зеленеющего картофеля и овощей, точно защитный вал. Молодая женщина воткнула железные вилы в кучу прелой соломы и, причесывая золотистые волосы, подошла к мужу.

— Я думала, ты приедешь к вечеру, — проговорила она; голос ее, низкий и бархатный, как всегда, позванивал. — Не спал? Ел ли? Руку перевязывал?

Николай усмехнулся: ответь-ка сразу на все! Что он не ездил, а ходил пешком, было видно по его пропыленным

сапогам; полевому крупного колхоза полагалась лошадь, но на них пахали пары. Что не спал, было заметно по его лицу — оно осунулось, щеки и округлый подбородок подернулись темной щетинкой, губы запеклись, и только в черноте чуть наискось поставленных глаз сквозила постоянная усмешка. Насчет еды — можно и потерпеть, не маленький; руку, все еще со свищом в ране, перевязал в медпункте хуторской бригады.

— А я думал, не застаю тебя, — сказал он, как всегда с удовольствием прислушиваясь к позванивающему голосу жены. — Что сегодня, прогуливаешь?

— Не бывало! — весело возразила она, садясь напротив мужа. — Просто отпросилась огурцы посадить; и так опоздала, боюсь — взойдут ли. Вот солнышко чуток повыше подыметсЯ и побегу в бригаду.

Она обернулась, поглядела на солнце, и на ее немножко горбатым носу ярче заблестели капельки пота.

— Новость хочешь? — спросил Николай.

— Из газеты?..

— Вроде, но из чьей? — усмехаясь, Николай вынул из сумки листок прочного пергамента, похрустывая, развернул его и подал жене. — Читай.

Покусывая стебелек, Лизавета оглядела бумагу сверху донизу. Жирные фиолетовые чернила отливали позолотой, и листок сразу привлекал внимание. Он был аккуратно испещрен двумя письменами: печатными буквами на русском языке и славянской вязью на древнецерковном. Сверху чернел иезуитский крест. В правом верхнем углу стоял девиз: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!». Ниже слово к слову, строка к строке следовал текст: «Братия и сестры во Христе! Аз есмь апостол и провозвеститель Иеремия и ныне реку вам: близок час второго пришествия Учителя и Господа моего. Велию милостию Пренепорочного Бога зову вас — покайтесь и спаситесь. Кусом единым питайтесь, хладною водою пейте, поститесь, дондеже не явлюся вам. Отриньте прочь яко скверну все заботы ваши, все труды ваши, молитесь. Трожды плюньте на дома ваши, на скоты ваши, на пашни и нивы ваши, яко на падаль смрадну, празднуйте и молитесь».

Дальше листок призывал колхозников не подчиняться советским начальникам, своим председателям колхозов и бригадирам, не подпускать близ дворов и домов коммуни-

тов и комсомольцев и гнать их из сел и деревень «вервием и дрекольем». Заканчивался листок жирным шрифтом: «Возденьте одежды светлы, чисты, коленями станьте перед Христом на востоке и молитесь, дондеже не вострубит рог Архангелов и глас Спасителя не призовет вас на суд праведный и нелицемерный. Велю вам послание мое шестью переписать и шестью же вручати братьям и сестрам и ближним вашим. Аминь!»

От листа пахло ладаном.

— Их работа, — решительно проговорила Лизавета, вернув лист мужу, и отерла пальцы о траву. — Ишь, разошлись. Наплюют колхозники на их газету!

— Наплюют?.. Ты уверена?.. Ошибаешься... Во второй бригаде хуторян с воскресенья не выходят на работу чегверо; в третьей сегодня семь прогульщиков: старухи, старики и солдатики; топят бани, моются, чистятся, палят свечи!.. Я уговаривал — не поддаются, звонил в район — удивляются: не ожидали, считали, что со скрытниками покончено. А секретарь райисполкома, знаешь, чего заявил?.. «Скрытники — ваша выдумка, товарищ Юрков; такой общины не зарегистрировано!..» Беспаспортники — и регистрация; вот же чудак, если не хуже!.. Нет, обнаглела Минодориная банда, пока мы воевали! Да и как не обнаглеть, когда на сельсовет два коммуниста осталось и оба — подноси да не сплесни!..

Юрков недобро покосился на лист.

— Сегодня назначены колхозные собрания по нашему сельсовету, — помолчав, сообщил он. — Райкомовцы приедут.

— Больно жирно для Минодоры!

— Как это понять — жирно?.. Как понять — жирно?.. Это же призыв к саботажу, да еще в военное время. И почему для Минодоры? Райкомовцы едут не к Минодоре, а к народу, к колхозникам.

— Эх, и раскрошу же я на собрании эту шатию-братию, и Минодору, и ее кривобокую! — Лизавета ударила кулаком по земле.

— Расплатишься? — полушутливо, полусерьезно спросил Николай, и на губах его появилась веселая улыбка.

— Расплачусь, — задорно тряхнула головой Лизавета. — За все и полным весом. За ту беременную дуру, которую папаша подвез, за это вот святое письмо, и за то, что себя очернила, чтобы Минодорины шашни раскрыть, и

за то, что четыре дня ее кривобокую ведьму своим хлебом кормила. Даже за то, что из-за них меня в раймилиции осмеяли... Эх, жалко, что креститься не согласилась, струсила тогда ихней шайки-лейки, а сейчас каюсь. Теперь бы я их могла фактами крыть... Фактами бы, фактами, да по башкам бы, по башкам!

Она сердито вырвала клоч травы, зачем-то сунула его себе под нос и отшвырнула прочь.

История, на которую намекала жена в своей горячей речи, стала известна Николаю еще на лесной тропе. Когда он находился уже во фронтовом госпитале и обещался домой, заехавшая в Узар женщина-следователь рассказала Трофиму Фомичу и Лизавете, как во время войны с Финляндией одну «согрешившую» красноармейку заплонила секта скрытников, как красноармейка, родив в обители и лишившись ребенка, повесилась в келье и как было вскрыто это двойное убийство.

Рассказ взволновал и молодую солдатку, и старика. Зная понаслышке, что в доме Минодоры скрываются странники, они решили точно проверить достоверность слухов, посоветовались между собою и стали действовать. Одной из подружек колхозной кладовщицы Лизавета пожаловалась, что скоро вернется муж, а она в тяжелом положении от другого. Спустя несколько дней к Лизавете пришла другая подружка колхозной кладовщицы и выведала, что «юрковская солдатка не находит себе места». Через неделю Лизавету навестила третья приятельница Минодоры, которая «своими глазами видела у несчастной солдатки намыленную веревку». Затем пожаловала Платонида с евангелием и лампадой. Она прожила у Юрковых четыре дня. Ее не гнали, чтобы разузнать где находится община и каковы ее дела, но получали тусклый ответ: «в странствии, взыскупя града господня». Зная, что Лизавета Юркова не Анна Дремина, проповедница старалась зацепить в солдатке иные чувства. «Мор и глад ниспослан на русскую землю, — говорила она, — все россияне гонят супостата немца огнем и мечом, только боголюбцам завещано биться постом и крестом!»

— Сим победиши! — восклицала Платонида, обдавая Лизавету пламенем своего взгляда. — Тако сказал архистратиг Христа, тако говорю и я. А тебе, грешница-прелюбодейка, один путь — в странствие: мы и укроем, и грех замолим, и спасем!

Так и не добившись от хитрой старухи большего, Лизавета отказалась креститься, выпроводила проповедницу со двора, но при первой же возможности сходила в районный центр и обо всем сообщила милиции. Однако там просто-напросто посмеялись над горячностью колхозницы и заявили, что советская милиция с сумасшедшими старухами не воюет.

— Вот за весь этот позор я и отхлещу сегодня красавицу Минодору, — проговорила Лизавета с прежним огоньком. — Раз уж за нее милиция не берется, так возьмемся мы... Письмо-то дашь мне?

— Возьми, не жаль; я все равно на собрании не буду.

— Куда-то опять зовут?..

— Зовут. Начальство ведь: не просто полевод, а с привеском — сельисполнитель, да еще старший, — засмеявшись, проговорил Николай, потом серьезно добавил: — Дезертира ловить. Какого-то Калистрата Мосеева, из Ашынского колхоза, что ли. Скрывается давно, а вчера где-то ребятишки видели; ну, участковый и просит помочь.

Лизавета осторожно подавила вздох, опять вырвала пучок травы, понюхала его и не отшвырнула в сторону, а, не подымая глаз, припорошила травой обутую в сапог ногу мужа. Николай понял ее: недовольна, что он, не отдохнувший и полуголодный, с незажившей раной на руке и от ранения же больной головой, снова уходит, быть может, на целые сутки.

В самом деле, вернувшись из армии, Юрков очень мало бывал дома. Первую после возвращения неделю фронтовика возили по всему району — кто же, как не партизан, провоевавший в тылу гитлеровцев целый год, лучше всех расскажет народу о боевых делах родной армии?.. Потом подоспела посевная — кому же, как не полеводу с довоенным стажем, поручить руководство такой кампанией, тем более, что в колхозе пять бригад, три из них на окольных хуторах, бригадирами четыре хилых старика и один зеленый подросток, а председатель колхоза одноногий инвалид?.. Затем, то ли по старой памяти, то ли по новой — как фронтовика и разведчика, сельсовет утвердил Юркова старшим сельисполнителем — вручай повестки, помогай участковому милиционеру. Как откажешься от одного, от другого и от третьего, если война породила в деревне такое невиданное безлюдье?!

— Коля, солнышко-то...

— Чую, греет!

— Я не шучу.

— Знаю, иди, не задерживаю.

— А ты?.. Поесть, поспать?

— Есть не хочу, а посплю здесь. Схожу, окунусь в реку и грохнусь вон там на траву!

Если бы Николаю Юркову предложили пересхать на жительство, скажем, в Крым или на Кавказ, предоставив всяческие удобства, он едва ли согласился бы покинуть свой родной Узар. Здесь все до мелочей было свое, родное. Этот древний, но вечно юный лес, к которому, словно привязанное нитками телефонных и телеграфных проводов приросло селение. Эта река, узорной дугой отгородившая тайгу от жилья, весной страстно бурливая, летом, когда щиты на мельнице закрыты, — ласковая, осенью грустная, а зимой, под снегом, незаметная. Эти поля, многоцветным ковром ниспадающие к деревне с Соколей горы. Да и сама деревня — прапрадедовский Узар, где и сегодня еще нередко избы из кондовой уральской сосны, с подслеповатыми оконцами под верхним венцом и с резными петушками на шатровых крышах — чем она плоха? Правда, невелика, растянулась в одну улицу, в середине которой по-братски уживались под одной кровлей правление колхоза с сельской школой и пожарный сарай с колхозным амбаром. Прямая и ровная улица просматривалась из конца в конец, от крайнего двора Юрковых до крайней же усадьбы Миnodоры.

Николай миновал свой огород, осторожно, чтобы не повредить раненую руку, перелез через прясло и невольно задержался на береговом пригорочке. Отсюда были хорошо видны тесовые крыши Миnodориных хоромин — пятистенный дом, погреб, амбары, скотный двор и квадратная громада высокого угрюмого забора. Над всеми постройками возвышался, точно изогнутый шпиль над крепостью, колодезный журавль. Вид этих хором вернул мысли Юркова к разговору с женой.

Рассказ отца о встрече со странницами в весеннем лесу и нетерпеливые, подчас злые разговоры Лизаветы о лицемерных поползновениях Платониды не только не беспокоили Николая, но и забавляли его: хм, секта — три выжившие из ума старухи, подумаешь, страх!.. Однако появление «святых» писем и несомненно связанные с ними прогулы двенадцати колхозников в трех самых отдаленных и

самых отстающих бригадах встревожили его, вынудили позвонить в район и заставили призадуматься. «Что это за секта? — размышлял он, по горло сидя в прохладной воде. — Неужели я нагнал райисполкому, что это скрытники? Неужели отец и Лиза ошиблись или приукрасили?.. Да, была такая секта до революции. Отец и дед Демидыч рассказывали, как полиция ловила в сектантских подвалах сперва фальшивомонетчиков и убийц, потом дезертиров с германской войны. Была она и после. Помню, азинцы поймали у ашынского прасола — сектанта двух мобилизованных бывших мелких торговцев и расстреляли и прасола, и дезертиров на Сокольей горе. Знаю, что была эта секта и много позже. Сам комсомольцем помогал милиции ловить бежавших из высылки кулаков, и четырех мы нашли в подземных церковках у скрытников... Ну да, точно: двух в Ашье, у Ермилы Гордеича, и двух на хуторе у Мавры Ионихи... Там же взяли и нашего мельника Луку Силыча — помню, ревел как баба! Но это было в раскулачивание, тогда и секты ликвидировали. Неужели скрытники поднялись через тринадцать лет?!»

Вздрагивая от долгого сидения в воде, Николай вылез на берег. «Но почему именно в доме Минодоры? — думал он, одеваясь. — Верно, был за ней грешок со скрытниками, не выселили ее тогда как пострадавшую от белых. Но зачем ей надо связываться с этой сектой? Что ей за польза? Сама в колхозе, дома работают старик и дурочка, живут хорошо, одевается, как невеста. Ну совершенно не понятно, и верится, и не верится. Точно, ни в бога, ни в черта она не верит. До войны состояла в союзе безбожников, сам я принимал от нее членские взносы. Никакая она не сектантка, нет!.. Здесь, наверно, просто старые подозрения, зряшная болтовня. Лиза с папкой пересолили, а я поддался на ложный слух. Может быть, опять у кого-нибудь на хуторах?.. На хуторах — да... Леший их знает, ничего не поймешь!»

Подойдя к Лизавете, он, однако, предупредил:

— Знаешь, Лизута, ты помолчи-ка на собрании про Минодору. Оклеветать человека легко, а обелить...

— А я, Коля, по-другому думаю, — тихо, но решительно перебила Лизавета. — Гляжу на Минодорины палаты и думаю про ту странницу, которую папаша подвез; уж не повесилась ли она в этих палатах, как та красноармейка? Вот так и кажется мне, что там — смерть!..

...Но Агапита осталась жива.

Поправлялась она медленно. Бывало, дома ее лечил плохой ли, хороший ли, но фельдшер. Здесь же, кроме снадобий, изготовленных Платонидой и приносимых Неонилой, больная не видела никакого лечения. Всем существом своим страшась проповедницы, она не пила ее зелья и выливала подозрительную жидкость в крысиные норы в углах своей кельи. Болея у себя дома, она могла даже посидеть возле открытого окна или выйти на крылечко — Павел иногда выводил ее из избы и усаживал на подушку. Здесь же одностворчатое оконце, помещающееся под самым потолком, выходит под крыльцо хозяйского дома; света в нем почти никогда не бывает, и открывается оно только с благословения самой странноприимицы. Свежим воздухом Агапита подышала всего два раза: вскоре после родов и сегодняшней ночью. В этом ей помогла Неонила. Когда все уснули, старуха вывела свою постоянную спутницу в курятник и с полчаса караулила, чтобы кто-нибудь не обнаружил их самовольной прогулки. Но как только сквозь щели курятника Агапита увидела небо и звезды, так снова ее душу наполнили тоска по воле и щемящая жалость к самой себе.

В ту ночь она не смогла заснуть.

Вернувшись в душную келью, Агапита почувствовала чрезмерное утомление и, даже не помолившись, легла на жесткий топчан. Под полом, визжа, возились крысы. По низкому потолку ползали мутные блики от теплившейся в углу лампадки. В еле заметную щель над дверцей проникал тусклый луч коридорного светильника. От рубашки на груди пахло молоком — сменить белье роженица могла, по канонам общины, лишь через десять недель. Женщине вспомнился ребенок. Кто он был, девочка или мальчик? Правду ли сказала Платонида, что он родился мертвеньким? Тогда неужели Агапите померещился громкий вскрик новорожденного? А если нет, то куда и кому подкинула младенца эта злобная уродица? Неонила обещала дознаться и сказать. Чей он был, кто его отец? Брат ли Агафангел, гнусавый прыщавый и мокрогубый верзила, или же брат Мафусаил, высоченный красавец, откровенно мечтающий об Америке? В ту кошмарную ночь оба эти странника были в закамской обители, с позволения тамошнего странноприимца пили самогон в молельне, спорили о войне; а когда Агапита уснула, один из них вошел в ее келью,

погасил лампаду, в борьбе переломил женщине палец (теперь Агапита крестилась нечестивым двуперстием) и насильно стал отцом ее ребенка. Но младенец, конечно, жив. Агапите почудилось, будто дитя лежит рядом с нею на топчане — вот оно шевельнуло сначала ножкой, потом ручкой, вот затеребило рубашку на ее груди... Она вздрогнула — и что-то тяжелое и мягкое шлепнулось на пол: «Крыса!..»

Агапита села, прислушалась. Из молельни доносилось пение. Невнятное и унылое, в этом глухом подвале оно, как рыдание, резало слух, точно мокрый червь, вползало в душу. Женщину передернуло, и, быть может, для того, чтобы подавить в себе это омерзительное ощущение, она прошептала:

— Служат зорнюю, поют концевой тропарь утренницы, сейчас кончат... Господи, я не виновата, что не молюсь.

Но ее никто и не винил. Сама проповедница запретила ей посещать как вечерние, так и утренние зорницы и даже показываться из кельи в течение десяти недель. Это был срок очищения роженицы по канону затворничества — священная кара ее за великий грех прелюбодеяния.

Зорняя служба окончилась, певучие голоса замолкли. Давно не выдавшая людей (затворница даже не знала всех странников здешней обители), Агапита не выдержала. Она придвинула топчан к дверце кельи, осторожно взобралась на него и, заслонясь ладонью от луча коридорного светильника, выглянула в щель.

Первым из молельни к лестнице вразвалку прошагал упитанный старик в красной рубахе с белыми горошинами, и Агапита вспомнила его — это шел сам странноприимец. Вслед за ним, похлопывая ладонями по бедрам, с громким шепотом: «Прощка, куд-кудах, дай сахару, и я тайну знаю!» — пробежала худая как скелет беловолосая девушка. Со стороны молельни слышались знакомые шаги: потопывая, как коза, в соседнюю келью прошла Неонила, но тотчас вышла и, мелькнув своим белым клетчатым платком, хлопнула дверью на лестнице. «Пошла за трапезой для обители, — догадалась Агапита. — Сегодня она сестра-трапезница. Попрошу корочку хлеба, авось, сжалится надо мной». Не успела Агапита занести руку, чтобы обтереть вмиг повлажневшие губы, как против ее кельи остановились двое мужчин. Прежде она различала этих людей только по голосам и по походке, теперь же увидела их лица. Почти

касаясь потолка черными взлохмаченными волосами (Агапита заметила в них белые пушинки) и настороженно косясь в сторону молельни, один тихо сказал второму, видимо продолжая разговор:

— А мы покудов ничего, стоим. Только голову чуток ладаном обносит, видно, не свичны.

— Привычком, слушайте, другой натура, — так же тихо и как будто заискивая перед первым отозвался другой, по-петушиному снизу вверх смотря на собеседника.

Вывернутые веки его были чрезмерно толсты и казались подкрашенными суриком, отчего круглые глаза поблескивали красно-коричневым оттенком. Мелкие черты лица, оранжевый, видимо, очень жесткий хохолок над нависшим лбом, лоскуток оранжевой бороденки, длинная жилистая шея и весь его какой-то уж очень потрепанный вид делали этого человека похожим на петуха, только что вырвавшегося из потасовки. Непрестанно оправляя на себе кургузый выцветший пиджак и неподпоясанную вылинявшую красную рубаху, он с тем же заискиванием продолжал:

— Нашто стоять, лешак?.. Я — зырянин, ты — русак, пришли молиться, и оба давай стоять то ногами, то коленком; и смек долит: нашто стоим?!. Сиди да сиди, пой да пой, не верно ли? Бог-от сидит — ты сиди, поп-от поет — ты пой, чего не верно-то?.. Вот люди есть, слушайте, баптисты люди, о-о, вот люди, лешак! Сидит по скамейки, книжка — так, и поет да поет!..

Не в лад с суетливыми жестами слова он выговаривал медленно, старательно помогая себе уродливой мимикой.

— Брат Гурий, — раздался сердитый голос Платониды, — ты сызнова разглаголился тут про своих хлыстов, про еретиков?!

— Никакой клыстов, слушайте, только тиконько беседам оба братом Калистратом.

— Слушу, про баптистов толмачишь и, как в воду зрю, допляшешься ты здесь со своими хлыстами, дай бог явиться брату Конону!

Гурий сделал вид, что он смущен, и отвернулся, но Агапита подметила, как при имени пресвитера общины ехидная ухмылка еще больше искажила его злобное, разбойничье лицо.

— Во многой мудрости много печали, речет Екклесиаст в стихе восемнадцатом, главою первой, — продолжала

Платонида, точно стараясь растопить своим огненным взглядом вмиг застывшее лицо Гурия. — А твои хлысты мудрствуют лукаво, в мирской скверне погрязши!

Стуча костью, она подошла к келье Агапиты и помолитствовалась. Застигнутая врасплох затворница ответила наспех, но Платонида, что-то еще говорившая Гурию, вошла тоже не сразу, и это спасло Агапиту. Старуха кинула взгляд на лампаду перед распятием, потом на неразобранную постель и, удовлетворенная осмотром, спросила:

— Вознесла ли зорнюю, раба?

— Вознесла, сестрица, — солгала Агапита едва ли не впервые в жизни и к своему удивлению не почувствовала краски на лице. Будто проверяя, не накажет ли ее бог за явную ложь, добавила: — Всю ночь молилась...

— Спасет Христос, — милостиво отозвалась Платонида.

Агапита подавила невольную усмешку. «Вот тебе и провидица», — подумала она о старухе, а та уже напутствовала:

— Ныне великий день твой, раба Агапита, кончился греховный затвор. На завтрашней утреннице восприму от тебя триединую молитву очищения, а сейчас благословляю на святое послушание вровне с сестринством. Христос труды любит. После трапезы принесут тебе одеяло стежигъ для матери-странноприимицы, так постарайся со тщанием и верою.

— Без пялов-то да в келье выйдет ли? — возразила Агапита, смутно надеясь, что ей позволят работать в верхних комнатах или выпустят во двор.

— А ты с молитвой, да и не едина будешь — девчонку пошлю. Подучи ее во имя Христово, пригодится.

Тремя ржаными сухарями с кипятком и кусочком кислого, тоже ржаного хлеба, тайком выкроенного для нее Неонилой, Агапита немножко утолила голод и стала ждать обещанного послуха. В обители установилась тишина — видимо, братство и сестринство уже отправилось на послух, — и лишь мыши с крысами не прекращали своей отвратительной возни под полом. Сквозь какое-то отверстие в ступеньках под крыльцом ворвался солнечный луч, глянул в запыленное стекло оконца и, точно испугавшись полумрака кельи, мгновенно побледнел и исчез. Обеспокоенный светом, вниз по стене стремглав пробежал мизгирь, но, достигнув топчана, остановился, будто раздумывая, на что решиться, и юркнул в постель. Агапита встряхнула

подушку, отыскала на полу елозящее вверх лапками насекомое и, брезгливо сморщившись, растоптала его. «Фу, пакость, от света бежит! — чувствуя судорогу в губах, прошептала она; и вдруг чем-то острым, раскаленным полоснуло по сердцу женщины: — А я?.. Не боюсь ли солнышка, не прячусь ли от света, как скрываюсь от людей? Эта келья в три шага вдоль и шаг поперек — не щель ли насекомого? Кто огромный придет сюда и так же разотрет меня своей подошвой?.. Живьем в могилу... Так сказала женщина в лазоревом полушалке. Могила. Келья — могила, топчан — гроб. Он и похож на гроб: не шире, не короче. А над гробом лампадка, и крест, и глушь. Страшно мне, душно... ду-у-ушно!»

В смятении вскочив, Агапита рванула дверцу, попятилась, обеими руками схватилась за сердце и опустилась на топчан.

На пороге стояла девушка, которую затворница не видела здесь ни раньше, ни сегодня после зорниц. Внезапность прихода и необычная для скрытниц свежесть лица вошедшей повергли странницу в трепет: она приняла девушку, так внезапно появившуюся в минуту ее душевного потрясения, за видение.

— Здорово, соседка, — с улыбкой проговорила незнакомка, притворив за собою дверь. — Ты уж извини, что без Христа врываюсь: не привыкла еще, факт налицо!.. Я живу в ящике рядом с тобой, только моя варшавская кровать стоит не у этой стенки, а у той, которая к Платониной келье. Ты знаешь, что нас с тобой заставили одевать стежить? Платонино старанье, дай ей господь царство небесное!

Вскинув смешливые глаза к потолку, Капитолина скроила такую благочестивую мину, что все замешательство Агапиты будто кто-то снял легкой рукой. Она встала, якобы затем, чтобы поправить фитилек лампы, потихоньку улыбнулась, чтобы не видела девушка, потом обернулась к Капитолине и нарочито благопристойным тоном спросила:

— Где же одеяльце-то, сестрица?

— Я все в баню снесла. Все там: сатинет, и вата, и нитки. А Платониде заявила, что баня для этого дела в самый раз. В келье не расстелешь его, двухспальное-то, да и темно — не строчки выйдут, закорючки; а баня мирово: чистая, по-белому, большая, светлая и, — она наклонилась

к самому уху Агапиты и прошептала: — никто не подслушает, если посекретничать вздумается... От старика я предбанник на крючок запру, а для Варёнки Калистратову шубу выворочу да разок покажусь дуре — за сто верст отбежит!

Агапита вся пылала от предстоящего выхода на волю. Нет, ей было не до секретов, да и не имелось их у нее. Ей бы вдоволь надышаться чистым весенним воздухом, досыта, досыта наглядеться на все, что согрето солнышком. Зелени, цветущей зелени понюхать!

— А где баня, сестрица, в огороде? — спросила она, закусив уголок платка; и Капитолина поняла: боится, не увидели бы люди.

— Да нет же! — нетерпеливо воскликнула она. — Говорю: по-белому, во дворе, рядом с домом. Из курятника — прямо в предбанник, шага два с половиной, ну три, шмыг и там! Ты давай в курятник вылезай, а я пойду у Калистрата шубу захвачу.

До этого часа Агапита не знала, сколь хорош мир.

Ухватившись за дверцу курятника, чтобы не упасть от неожиданного сердцебиения, женщина стояла, не решаясь шагнуть вперед. На изможденном и словно бы заплесневелом ее лице застыли изумление и растерянность: не сон ли это?.. Под ногами бархатная лужайка, сбоку садик, облепленный стайкой трещащих воробьев, откуда-то несутся ребячьи голоса, кто-то где-то поет знакомую песню.. А небо, небо, оно ли над нею? Улыбаясь, она медленно повела взглядом от сруба колодца до конца журавля и почувствовала, как земля выскальзывает у нее из-под ног.

Сзади ее подхватила Капитолина:

— Пошли.

Баня узарских странноприимцев показалась Агапите намного краше, светлей и просторней, чем своя избушка на родном хуторе. Окно бани выходило во двор, как раз напротив амбара, и прикрывалось темной занавеской. Раскупорив отдушину, сделанную в стене под потолком, Капитолина уселась за косяком окна и, покуда Агапита растилала на полу материю и раскладывала вату, принялась наблюдать за двором.

— Ты, поди, думаешь, — начала она вполголоса, — дескать, вот нелепая девчонка сидит и следит за дурой... Тебя, кажись, Агапитой звать?

— Так крестили, а тебя?

— Капой зови; я ведь не маканая ни в церкви, ни здесь. Агапиту впервые не встревожило такое признание.

— А с этой дурой ты не шути: она круто знает дело! — тем же тоном продолжала девушка. — Я из-за нее, может, язвы в кишках нажила, потому что три недели только одной сырой калегой кормили и на воздух не выпускали. Восемнадцать пар перчаток связала по заданию и все в келье, при лампадке, ну-ка?!

Агапита вздохнула. «Тебя три недели, а меня трижды три, — с тоской подумала она, — а сколь и чего сшила да связала — и счету нет».

— Едва не окочурилась. Знаешь, за что? За пустую пустоту — Калистрата милым назвала! Взяла и ляпнула, в шутку, конечно: какой, мол, ты милый, Калистрат Мо-сеич. А Варёнка подслушала да хозяйке, ну та и приварила мне затворный послух на весь рождественский пост. А какой он мне милый, этакая-то образина! Ты видела его? С вечера во сне увидишь, так до утра протошнит. Только и хорошего, что голос, как скрипка, да душа ребячья, а так — чучело... Да-а, заигрываю с ним, потому что надо; за журавлиный нос потягиваю, чтобы никому в обиду не давал, покуда здесь обретаюсь, факт налицо. Нужен мне такой ангел, как корове шляпка! Да еще дезертир, враг всенного времени...

— Дезерти-ир?.. От фронта?!

— Ну да, второй год здесь прячется, сам признался.

— Значит, он не... странник?

— Фиг! Странствует днем по двору на послухе, а ночью по Минодориной кровати!

Агапите стало не по себе, но не верить девушке странница не могла. Разве не встречала она подобного же в других обителях общины? Разве не такой же дезертир хотя бы брат Агафангел? Молодой, здоровый, точно литой, а переменил имя — закамский странноприимец называл его Антошей, — оделся в рубище и разгуливает под видом странника. Разве сарапульская вдовушка-странноприимица не приютила молодого послушника так же, как Минодора приютила Калистрата? Да мало ли чего довелось видеть Агапите по обителям за целый год странствования!

А Капитолина говорила с нескрываемой злостью:

— Хотя я сама презрительная дезертирка из школы фэзэо и тоже вроде как врагиня народа, но уж таким военным подлецам я бы башки пооткусывала... А!.. А!.. Кра-

дется, крадется, тварина безмозглая... Гляди, гляди!.. Вот сластена!.. Ну, гляди...

Вдоль забора к бане кралась Варёнка. В темном, невероятно широком платье с чужого плеча она казалась подобной уродливой тени. Длинные пальцы ее раскинутых рук судорожно нащупывали доски забора, босые ноги ступали будто по горячим угольям, простоволосая голова была закинута, рот широко разинут, но веки стиснуты.

— Вот фефела: зажмурилась и воображает, что ее не видно. Не догадалась от курятника подползти, может, была бы с сахаром. Эх, и представляю же я ей полосатого!

— Не надо бы, Капа... Юродивая ведь она; да и, наверно, заставляют ее.

— Лучше не отговаривай! — пылким шепотом возразила Капитолина, выворачивая наизнанку принесенную шубу.

Она дождалась, когда Варёнка оказалась под окном бани, быстро напялила шубу, укрывшись ею с головой и, стараясь не стучать, вышла в предбанник. Оттуда послышалось свирепое рычание, и Агапита увидела, как Варёнка с истошным воплем «Прощка!.. Прощка!..» стремглав перемахнула двор и скрылась под амбаром. Тотчас вернулась раскрасневшаяся Капитолина.

— Вот это стреканула так стреканула! — давясь от смеха, проговорила она. — Теперь отроду веков к бане не подойдет.

— Напрасно ты ее так.

— Ни капельки не напрасно. Три хороших дела сделала: она, может, отвыкнет подслушивать, Прохор побоится подсылать, а Минодоре придется самой баню топить. Ябедников ненавижу!.. Можно сказать, из-за ябеды с фэ-эво смылась. Была у нас такая паразитка, начальству хлюстала. Что бы ты в группе ни сделал, она чик-чик и — мастеру, а тот, не разобравшись, мялку дает, да еще при всенародном собрании. Сбегаешь вечером на танцы в сад, а она, подлюга, наябедничает да еще добавит, что ты с танкистом крутила. Либо разболится у тебя голова, затынешься ты куда-нибудь за стружку в цех и только ляжешь, а мастер — вот он: ябеда уже доткнула, и потасковка тебе готова!.. Не обидно, если бы сама чиста была, а то прогульщица из прогульщиц, поломщица из поломщиц, только свои грешки нашими покрывала. Глядела, глядела я на эту лялю и пошла к директору: переведите, говорю, в другую группу. А он, чудак, на меня же нафыркал. Ладно,

думаю, не желаете в другую группу, тогда я в другую школу махну. Стала собираться в Краснокамск, где наши девчата учились. Они писали, что мирово живут — учеба и все такое. Складываюсь, сухариков наготовила, две банки щучьих консервов сухим пайком получила. Эта известная паразитка все нанюхала и — мастеру. Тот явился, как бог, все мое пайковое отобрал и заорал на всю группу: «Дезертирка! Враг народа! Гитлеру помогает!» Это я-то Гитлеру помогаю! Две ночи моя подушка в слезах купалась, а потом я решилась: ах так?.. Нате!.. Взяла и трахнула с обмундировкой на толчок: на билет выручу, а там девчата помогут. Только распродалась — с толкучки бы да на вокзал, — а тут по всем проходам милиция, облава на всяких Калистратов, и взывала я, что твоя волчица! Вот здесь-то Платонида и накрыла меня...

— Вон оно ка-ак! — удивилась Агапита.

Разговаривая, Капитолина навдевала ниток в иголки, примостилась половчее и стала набрасывать узорные швы с одного конца одеяла. Агапита делала то же с другого конца, искоса посматривая на работу своей говорливой помощницы. Их головы — черная и светлая — то и дело сталкивались над поблескивающим голубым полем сатина; быстрые руки переплетались, не уступая в проворстве друг другу. Агапита все более убеждалась, что эту, с виду городскую белоручку, нечему учить, как наказывала проповедница. «Видно, и говорит так же честно, как работает, — с удовольствием подумала она, проследив за швом Капитолины. — Ничего барышня, хоть и вольноватая».

— Теперь-то я до дна раскумекала, для чего эта дра-ная крыса старалась, — продолжала девушка. — Чтобы в секту меня уволочь!.. Вот сижу я в темном закоулочке на барахолке, реву в подол и мечтаю: найдут меня здесь или не найдут? Если найдут, то без паспорта да при деньгах наверняка заберут, скажут: ширмачка — и ку-ку, тюрьма! Вдруг — эта ведьма: до ветру, слышь... Ну, она же гла-застая и сразу видит, что факт налицо. Слово за слово, она и предлагает: «Надень-ка вот мой сарафан да плат вот этот. Деньги давай мне, чтобы не отобрали. С милицией объяснюсь сама, ты только в землю зри и уста не отвер-зай». Мешок свой на меня повесила. В воротах сержанту шелковым язычком: «Мы есть странницы во Христе. Вера такая». Он вот так вот сбоку в харю мне заглянул, ви-дит — девка, махнул рукой в сторону. Платонида меня во

всем параде за город вывела. Там я ей про деньги; мол, вон он, вокзал-то,—а она тык-мык по карманам и в голос: «Ай, батюшки-светы, ухитили в толчее-то!» Потом застрашивать стала: дескать, сейчас уже по всем милициям дезертирку ищут, что всех дезертиров в арестные роты, а там какой-нибудь вшивый арестант прижмет под нарами — и чести капут. «Пойдем-кась, устрою тебя у добрых людей поживешь до лета. Летом я в странствие отправлюсь и сама тебя до матери сведу, в ваших местах бывала». Все это случилось накануне Октябрьской, потом снег, зима, а я в одном вот в этом платишке...

Интонациями, жестами, мимикой Капитолина очень правдоподобно воспроизводила так хорошо знакомые Агапите повадки Платониды, и мрачный облик проповедницы вставал перед женщиной, точно живой. Плоское, безгубое, безносое лицо то с мерцающими, то вдруг вспыхивающими впалыми глазами; щенячья побегка с костыльком; наконец, подход: сначала обласкать, убедить в своем бескорыстии и святости, потом привести в смятение, всячески запугать и затем вцепиться мертвой хваткой. Да, такова была Платонида, и Агапита теперь уже несколько не сомневалась в правдивости рассказа Капитолины. Невольно сопоставляя свою судьбу с судьбой этой девушки, женщина вдруг обнаружила общее между ними. Раздетую и ограбленную Капитолину взяли поздней осенью, надеясь за зиму так или иначе сломить ее волю и покрыть девушку строгим канонам общины. Запугав и ограбив, Анну Дремину взяли ранней весной и, не дав ей опомниться, увлекли подальше от родных мест, а когда она пришла в себя, было уже половодье; затем беременность окончательно закрыла ей путь к отступлению. Значит, и времена года при заманивании в общину играли немаловажную роль! «Хитро делают, — улыбнулась Агапита от сознания того, что сама, без чьей-либо помощи, сумела разобраться в проделках Платониды. — Со мной схитрила, мол, провидица, а здесь, вишь, как девку оплела. Только, видно, умные-то есть же, как вон та солдатова жена. Не далася, и конец!» — и странница еще раз позавидовала незнакомой ей Лизавете Юрковой.

— Теперь-то чего дожидаясь, Капочка? — не заметив, что назвала девушку запрещенным в общине, по-мирскому ласкательным именем, спросила она.

— Теперь-то?.. Пожалуй, что ничего. Можно хоть сегодня смыться, но, понимаешь, ужасно интересуюсь одним делом. Могу сказать каким. Тебе я все могу бессекретно, потому что ты какая-то доверенная... Платонида говорит, мол, скоро заявится сам пресвитер, чтобы окрестить меня и Калистрата. Так вот мне до ужаса охота на сектантского попа поглядеть, потом поохотаться над Калистратом, как его, бегемота, станут в купелю кунать... У меня уж сейчас смех кишки выворачивает, как подумаю!

Она прыснула со смеху, ткнулась лицом в одеяло и залилась беззвучным хохотом. Ее взбитые, как пена, волосы мотались из стороны в сторону; почти детские, под узким платьем плечи вздрагивали, будто от рыданий.

Агапита тревожно глянула в окно и вышла в предбанник: нужно было посмотреть, не подслушивает ли их теперь сам странноприимец, да и уж очень хотелось подышать свежим воздухом.

Возле бани никого не было, и лишь поодаль среди садика стояла на коленях Неонила и чему-то блаженно улыбалась. Фиолетовые прожилки на ее лице казались тенями веток, но весь облик старой странницы был сейчас необычайно светел. Видимо, Неонила любовалась каким-нибудь стебельком либо букашкой: от сегодняшнего послуха она свободна как дежурная сестра-трапезница, и почему бы на досуге ей не насладиться миром? Агапита знала, что нелюдимая и замкнутая Неонила становилась доброй и общительной именно в минуты вот такого любования природой; и в голове молодой странницы мелькнула мысль: не пойти ли и не расспросить ли сейчас Неонилу о своем ребенке — девочка или мальчик? Как нарекли — старым или новым именем? Кому подкинули, во что завернули, не замерз ли, не задохся ли? Кто подкидывал: Платонида, Неонила или сама странноприимца? Узнала бы, где ребеночек, и хоть завтра из общины долой!.. Уже шагнув было из предбанника, Агапита вспомнила о строгости странноприимцев и остановилась. Вдруг кто-нибудь увидит, вдруг спросит, почему гуляешь, кто позволил бросить святой послух, почему дармоедничаешь? Тогда снова прощай воля, чистый воздух, снова затвор. Вздохнув, она вернулась в баню.

— Подышала? — спросила Капитолина, и ее участливый тон растрогал Агапиту.

«Лучше бы она смеялась», — подумала женщина и, не ответив, спросила ласково:

— А ты нахохоталась?

— Фиг!.. Вот возьму и сызнава рассыплюсь, хоть в корзину собирай!.. Эх, дождусь этого пресвитера, поглазею на него, нахохочусь до смертушки над Калистратом и подамся!

— Куда, Капочка?

— В город...

Девушка откровенно поведала Агапите о своем намерении заняться воровством, попасть под суд именно за кражу, отбыть наказание и, получив паспорт, устроиться на честную работу. По ее деловитому тону, по вдруг посерьезневшему взгляду веселых серо-синих глаз Агапита поняла: девушка не ищет легкой жизни, но хочет, чтобы ее преступление перед страной было сокрыто под пустяковой кражей. Женщине хотелось улыбнуться наивности Капитолины, и стало жаль ее неопытной молодости. Стараясь показать, что она серьезно относится к ее намерениям, и убедить девушку в своей искренности, Агапита приостановила работу и, не дотянув нитки по шву, распрямилась над одеялом.

— Ты, Капа, видно, думаешь, что тебя осудят за одно воровство? — опять ласково спросила она.

— Так я же говорю, что украду только одинова, чтобы попасть, — не понимая тревоги Агапиты, бесхитростно ответила девушка. — Может, у самого же милиционера чего-то хапну, чтобы сразу факт налицо!

— А я не это, Капа, не про то одинова али не одинова, а про другое. Как-то мне Павел... Сидели мы — он с хомутом, а я с седёлкой... Погоди маленько...

До этого спокойная, Агапита вдруг взволновалась. Она сунула в рот уголок платка, отвернулась к окну и сидела так с минуту, точно к чему-то чутко прислушиваясь. Потом заговорила, казалось, еще более спокойно, чем прежде.

— Так вот он и рассказывал мне, чуешь, когда собираются судить воров, то заранее все справки о них наведут. И где они живали, и чего делали, да не воровали ли в ранешних местах, и все, все, все!

— Ну?...

— Ну вот и про тебя так же могут. Хоть и одинова украдешь, а засадят тебя в острог и почнут справки наводить. Спросят у сельсовета, а он ответит, мол, была такая девушка, да отправлена учиться. Тогда потревожат школу, а школа скажет, мол, училась, да казенную одежду унесла

и сбежала. И станут судить тебя уж за две кражи и за побег тут же... Дай бог, если не спросят еще, где ты эту зиму провела да что делала.

Капитолина стояла на коленях и, не моргая, глядела в окно. От круглого подбородка ко лбу по лицу девушки медленно разливалась белизна. Уголки резко очерченного рта опускались все ниже, пока капризно изогнутые губы не дрогнули, будто от испуга. Она захватила лицо ладонями, осела назад и беззвучно заплакала.

Агапита не стала утешать девушку; она не раскаивалась, что из расположения к Капитолине сказала ей правду. Сложив большие жилистые руки на животе, Агапита думала: чем теперь помочь своей молодой подруге? Подвернувшуюся первую мысль — оставить девушку в общине — она отвергла. «Хватит, что себя загубила», — впервые откровенно призналась Агапита себе. Правильным представлялся один выход — послать Капитолину к тому старику, который когда-то подвез ее, беременную Агапиту, почти до самого Узара. Она прекрасно помнила имя и фамилию Трофима Юркова и точно сию минуту слышала его звонкий, но такой проникновенный голос. «Он не обидит, — внутренне радуясь своей находке, рассуждала Агапита. — Он и посоветует, и поможет. А здесь ей нельзя. Замучает ее поганая Платонида».

Еще всхлипывая, Капитолина бесцельно ковыряла иглой ниточную шпульку. На лице девушки проступали малиновые пятна, сразу припухшие губы что-то шептали.

Четыре беды пережила Капитолина за свою коротенькую жизнь. Первую — когда умер отец, а мать осталась сама шестая. Потом, когда слишком увлеклась коньками и лыжами, девушка два года одолевала и не могла одолеть пятый класс. Затем, когда при мобилизации в трудовые резервы она вдруг оказалась разделенной со своими душевными подружками по разным городам. Наконец, отвратительный плен в жуткой обители скрытников. Сейчас нежданно-негаданно на нее свалилась новая, быть может, еще более тяжкая беда.

— Тетя Агапита, — наконец, заговорила девушка. — Что же мне теперь, петлю скрутить вот из этих ниток?..

Агапита постаралась улыбнуться.

— Чище-то не выдумала?.. Да тут и думать-то не над чем, известно: петля — смерть собачья да дурачья! Ты бы

лучше над жизнью подумала, как да что. Дай-ка мне твою-то пору да погляди, как я обернуся.

— А что бы ты сделала?

— На-ко бери иголку да шей. Послух-то с нас, дорогуша ты моя, никто не снимет. Строчи вот этот узорок, он попроще, а я вон тот поведу. Строчи да тихонько поговаривай, может, и договоримся до чего-нето... Что бы, говоришь, сделала? А перво-наперво на люди бы вышла, на честной народ. Повинную голову, чуешь, не секут. Потом бы домой, к матери поехала...

— Да лучше сто двадцать раз повеситься, чем домой! Позорище-то! Мама и так, наверно, край могилы ходит, если знает. Позорище-то! На меня там собаки не будут лаять. Ведь только подумать! Я лучше здесь любому советскому человеку объявлюсь, пусть садят, а домой... Позорище-то!

Она говорила полупшепотом, но нет-нет да и срывалась на вскрик. Размахивая иголкой с ниткой, время от времени прижимала руки к груди. Раскрасневшаяся, с блестящими, словно росистые васильки, глазами, с маленьким полудетским ртом, в котором так и сверкали белоснежные ровные зубы, девушка все больше и больше нравилась Агапите. Странница боялась лишь одного, — чтобы не услышали, и то и дело выглядывала в окно.

— Ну, позор, позор; кто спорит, что не позор? — наконец перебила она Капитолину. — На что уж хуже! Так не турю ведь я тебя домой-то. Кабы турила, а только молвила, что на люди, мол, тебе надо. Ты вот и сама сказала, что любому советскому человеку объявишься, сказала ведь? Ну вот то-то и есть. И ладно было бы, опять бы на прямой тропе. От власти, Капочка, никуда не денешься, сколько ни бегай. Давай-ка успокойся да дошивай тот узорок, а я новый начну.

Агапита внимательно через окно оглядела двор, придвинулась к Капитолине и, сметывая шов, зашептала:

— Есть в этой деревне старичок... Трофим Юрков, запомни-ка...

— Трофим Юрков, ну?..

— Сын у него с фронту раненый и сноха Лизавета...

— Ну, ну?..

— Вот бы тебе к ним заявиться.

— Ой, тетя Агапита, вместе бы!

— Мои переходики, ягодинушка, сгорели, я уж теперь, видно, на том берегу.

В голосе Агапиты Капитолина уловила глухую душевную скорбь. Но женщина тотчас изменила тон и заговорила так, точно хотела не столь наставить девушку, сколь подбодрить себя.

— Заявишься, освоишься, да еще как заживешь. За муж выйдешь, детки будут...

— Ну уж фиг!.. Наслушалась я, как ты мучилась. Сама заревела, жалеючи. Заревела, уши заткнула — и дуй, не стой из обители, да в огород, да на речку! Хлопнулась на берег, лежу, а уши ототкнуть боюсь; думаю: ототкну и опять тебя услышу. Нет уж, лучше сапогом подавиться, как говорила одна наша баба!.. Уж я лежала, лежала на берегу, покуда Платонида...

Капитолина вдруг замолчала и, делая вид, что откусывает нитку, хитровато сощуренным взглядом повела по нахмурившемуся лицу странницы. Ухмыльнувшись, проговорила:

— Идемте-ка вместе, тетя Агапита, бросьте вы этих...

— Нельзя мне, Капа, — задумчиво перебила Агапита. — Коли уйду, так мне его вовек не найти.

— Кого?

— Ребенка. Если бы я знала, куда его подкинули...

— Кинули?.. Платонида, в речку, под лед... Я место укажу!

Агапита судорожно хлебнула воздух и без звука повалилась набок. Капитолина бросилась к ней и заметалась, проклиная себя.

IV. МАТЬ-СТРАННОПРИИМИЦА

Событие, в котором Агапита потеряла своего третьего ребенка, осталось в памяти не одной лишь Капитолины. Совсем не новое в общине скрытников и до смешного ничтожное, на взгляд отцов и матерей странноприимцев, оно вдруг стало причиной крутого поворота в существовании всей узарской обители; а виновником этой неприятной истории оказался сам Прохор Петрович. Он помнил проклятую ночь с мучительными родами, хотя с тех пор прошло ровно десять недель: помнил печной душник, из-за которого он так позорно опростоволосился; помнил и раз-

говор между дочерью и проповедницей, который по обыкновению подслушал из своей горницы; но особенно хорошо запомнилась ему головомойка с полчищем чертей и чертенок, полученная от разъяренной дочери. Сидя сейчас на лавочке возле погребка, он, пригретый солнышком, не прочь был бы вздремнуть, но воспоминания об этой головомойке лишали покоя...

...Минодора злобствовала: разнеженный ночным происшествием с родами и ослепленный ясновидением Платониды утром, старик-отец, на аккуратность которого она так полагалась, наделал множество глупостей. Вопреки ее распоряжению, он не только разбудил Калистрата, но и поставил его на послух вместе с Капитолиной, — в этом Минодора усматривала происки старой проповедницы, и они были понятны ей. Тоже вопреки приказу дочери, старик заставил Гурия работать в грязном хлеву — что скажет об этом пресвитер, если Гурий пожалуется? Разве не ясно, что Минодора дышит милостями пресвитера Конона, он волен в ее процветании и разорении, в жизни и смерти? Ко всему этому отец разрешил Платониде спать в часы общего послуха, вместо того чтобы заставить ее вязать чулки. Это ли не унижение странноприимницы перед какой-то ничтожной безобразной уродицей?

— Провидица, — защищался Прохор Петрович, треща при одном имени Платониды. — Слышала бы ты, как она весь наш разговор за чаем...

— Хватит! — крикнула Минодора, сошвырнув с коленной рыжего кота. — Ты принимал вчера Неонилку с этой с брюхатой?

— Я-с.

— Ты вызывал сюда Платониду через душник?

— Да-с...

— Квас!.. Вызвать вызвал, а душник не закрыл. Провидица... Через душник в ее келье любой черт услышит, а у твоей провидицы уши почище, чем у самого прокаленного дьявола. Старый охлопень! Душник-то я закрыла, как с работы пришла. Теперь что накрошил, то и выхлебывай!.. Ступай позови Платонидку, да сам сюда не ходи, с тобой я поговорю к ночи.

Избегая взглянуть на предательский душник, Прохор Петрович вышел из комнаты дочери и, дрожа от негодования, спустился в обитель. Его душил гнев на разоблаченную Платониду; и будь его воля, как встарь, он

в эти минуты собственноручно распял бы коварную проповедницу на кресте да так и оставил бы ее на расклевание птицам.

Странноприимица и проповедница давно знали и хорошо понимали друг друга, свидание происходило без свидетелей и стесняться было некого.

— Ты что же, святоша, вводишь свои законы в моем доме? — заговорила Минодора, едва Платонида уселась у конторки и оперлась подбородком на свой посошок.

— Дом твой, да обитель моя, — огрызнулась проповедница.

Обе они слышали дыхание друг друга, хотя их разделял обеденный стол.

— Я велела не трогать Калистрата, а ты прешь поперек моего приказа?.. Он тебе не странник!

— Погрязший во грехе с нечестивицей не минует лона Христова, ибо сказано: не согрешивший да не кается, не покаявый да не спасется. В молитве каения раб узрит свет!

— Ты Варёнке зубы-то заговаривай, молитвенница. Тебе понадобился не грешник, а мужик; закидываешь неводок в чужой прудок, а я пряменько скажу: не понесет твоя сучка от моего кобеля!

— Бесплодна, яко дым, ты, но не он, и такожде по моему быть!

Минодора встала, загремела посудой в горке и с дребезгом выставила на стол чайные чашки. Она огрызалась на брань старухи, но не забывала о своих истинных намерениях: коли уж так случилось — лови момент; и когда же, как не сейчас, в минуты злобствования хитрой уродицы, вывернуть наизнанку все, что давно мучило странноприимицу?.. Она отлично знала, сколь велико влияние проповедницы в общине скрытников, приобретенное ею за полсотни лет, но никак не могла разобраться во взаимоотношениях между Платонидой и Кононом, с одной стороны, и Гурием и Платонидой, с другой. Если проповедница в таком же почете у пресвитера, как среди рядовых странников, то после того, что произошло из-за глупого ротозейства старика, всему Минодориному предприятию наступает конец, и надо всячески улещивать старуху. Если же проповедница трусит пресвитера, значит, с нею можно не считаться, не церемониться, и всю власть над обителью передать в руки Гурия.

Этот человек был, по мнению Минодоры, много про-

пырливее и деятельнее Платониды, пользовался безусловным расположением пресвитера и мог бы оказаться верным защитником узарской обители перед всеильной главой общины. Но хозяйку дома смущали частые споры Гурия с проповедницей. Зырянин, хоть и косноязычно и потому путано, как будто ратовал за баптистов ли, хлыстов ли, тогда как Платонида, злобясь на ересь Гурия, с пеной на подбородке отстаивала древнее благочестие основателя и первопресвитера общины скрытников старца Даниила, прямо называя его тринадцатым апостолом. Минодора не знала, как относится пресвитер Конон к другим сектам, порицает их или действует заодно, и колебалась между Гурием и Платонидой, боясь остаться в проигрыше.

Эту-то загадку и хотела она отгадать.

— А Гурьку начто травмишь? — выслушав поток укоров и обличений разгневанной Платониды, спросила Минодора. — На кой черт велела старику сунуть в хлев этого зырянина? Али повеления пресвитера не помнишь?

— Хлыстовскому холую не ведаю иного послуха, как токмо в навозе. А перед братом Кононом ответствовать сама умею. Его повеление — мое хотение. Он — отрок пред мною и благословлен моим крестом. Тебя спрошу: доколе станешь мешаться в общинные каноны, мать-странноприимица? Доколе будешь попирать в обители власть местоблюстительницы пресвитера, сиречь мою власть? Мало тебе мзды от послуха братии? Куда еще лихоимствуешь?

Минодора в душе рассмеялась: «Ишь, разглаголилась словесами-то, по-русскому говорить разучилась. Передо мной-то чего выкомаривать?.. Хотя верно: родная сестра Антипке Пресветлому, пятьдесят годов странствует, привыкла язык ломать». — И с той же нарочитой язвительностью проговорила:

— А тебе завидно? Ну, ин забирай свою половину — и скатертью дорога. Только чтобы я твоего хвоста здесь больше во веки веков не видывала!

— Единой не изыду, обитель за мною пойдет, — пригрозила проповедница, хотя уходить из Узара не собиралась: из семи обителей округи здешняя была богатейшей и безопаснейшей. — Кому из всего братства и сестринства я не восприемница? Кого не обратила, кого не крестила? Чей глас для общины выше?.. Токмо разве глас Христа!

Пристукнув костылем, Платонида встала.

— Свое сама отберу, — тихо, но твердо сказала она и кивнула на сундук. — Ты наипаче деньги припаси.

Не оглянувшись на странноприимцу, проповедница похромала к двери горницы и уже открыла ее, но Минодора сердито проговорила:

— Опнись-ко, ты!.. Всякая птица своим носом сыта; чаю хоть выпей с вареньем да с кренделем.

Терять старую проповедницу, по крайней мере до появления пресвитера, Минодоре не было расчета: старуха наверняка могла уманить за собой всю обитель, включая и Варёнку, а на очереди летние работы.

— Не дури, Платонида, садись, — примиряюще сказала она. — Садись. Не волки мы, чтобы друг друга грызть. Сама знаешь, сколько нас теперича осталось!..

И обе вдруг вспомнили «смутные времена» своей общины, когда странноприимцы из явных кулаков-эксплуататоров были раскулачены и выселены, а их хоромы с рассекреченными обителями переданы нарождавшимся колхозам. Именно в те годы община скрытников претерпела тяжкие потрясения: огромное большинство странников разглядело подлинное лицо своих «благодетелей», поняло свои заблуждения и «вернулось в мир»; иные, не имея сил порвать с религией, «открывшись миру», срослись с легальными сектами. Лишь закоренелые фанатики вроде Неонилы либо преступники, скрывающиеся от суда или наказания, остались верны заповедям общины. Из странноприимцев уцелели немногие — вроде Луки Полиектовича Помыткина да Минодоры. Это были, пожалуй, начинающие, не оплывшие господским жирком, но уже вкусившие плодов легкой наживы. Наученные горьким опытом предшественников, они повели свои дела с тройной осторожностью, и лишь непомерная жадность вынуждала их к привлечению новых членов общины, однако с большим разбором. Все это создавало видимость исчезновения истинно православных христиан странствующих с лица земли, а с упрочением в деревне колхозного строя, о них — по крайней мере, в общинной округе пресвитера Конона — вообще перестали вспоминать.

— Давай, коли, кипятку да меду выставь, — садясь, произнесла Платонида.

На этот раз Минодора сама принесла самовар, выставила кушанья. Теперь в комнате за столом сидели уже не враги, а союзницы.

— Ты Капку к рукам прибери, — советовала Минодора, закончив сетование на «охиление» прежде могучей общины. — Мой старик об этой девке не больно красне поговаривает. Сплавить бы ее, да на безрыбье-то, видно, и рак рыба.

— Заматереет — смирится, — ответила Платонида. — На Агапиту зри: неизреченно строптивой была, в мир собиралась, а заматерела — смирилася, и впредь покорною будет. И с Капитолиною ты мне не прекословь. Надо токмо, чтобы Калистрат... я зелье знаю... напою обоих, заматереет она. Сама говоришь о безрыбии. Поступися на час мужиком!

— Не жалко. Не убудет клади, коли мышь погрызет. Но поначалить ее когда-никогда и мне дозволь: у меня, знать, тоже сердце имеется.

— Ты мать-странноприимица, тебе и сам Христос велит. Токмо чтобы и я была в ведении, за что взыскуешь и наказуешь. Я за обитель перед светлым престолом ответчица!

Проповедница помолчала, отхлебывая кипяток.

— Вот еще Гурий меня заботит. Хоть, слышь, и принял он святое крещение от Конона, но хлыстовцами походя бредит, и мню, грешница, не с расколом ли он в нашу общину явился от поганных хлыстов?.. Бывало такое, помнится!.. Да замечаешь ли ты, раба, что по ночам Гурий часто из обители выходит? К добру ли сие шляние зырянину? Нет ли у пса наложницы? Знакомцев нет ли из потусторонников? Не предал бы нас, двуглавый змий!

Минодора знала от отца, что Гурий сочиняет «святые» письма и по двадцать верст за ночь бегаёт то на разъезд, то на станцию, чтобы рассовать «послания пророка» по военным вагонам, однако ответила уклончиво:

— Не видала.

И на это были свои причины.

Представив ей Гурия как весьма нужного человека, пресвитер Конон наказал лишь хранить и беречь его, но ни слова не промолвил о том, чтобы следить за ним. Поэтому-то Минодора не ввязывалась ни во что, чем занимался Гурий в обители или за ее пределами: если он перевозил баптистов или хлыстов, значит, дело Платониды опорить его; если диктовал Прохору Петровичу «письма пророка Иеремии» и разносил их, значит, такова воля пресвитера; выходит, роль странноприимицы здесь

наблюдательная. Она лишь иногда советовала, когда кому именно из колхозников и какими путями подбросить «святое» письмо, и неизменно упрашивала Гурия взять этот труд на себя, потому что отца все-таки жалела, а Калистрата считала бестолочью.

Собеседницы проговорили до полуночи. Они еще поспорили о «святом послухе», причем Минодора повернула дело так, что Платонида оставалось только согласиться подавать пример трудолюбия — вязать чулки и варежки — и блюсти порядок на внутренних работах. Однако не уступила и Платонида, потребовав себе хозяйского питания, разумеется, втайне от обители. Странноприимице пришлось согласиться. Они по-дружески договорились о встрече пресвитера, которого ожидали со дня на день, не поскупившись выделить ему щедрый подарок из своих доходов. Потом Минодора предложила обратить к своей общине одну «сильно надежную грешницу». Ею оказалась Ефросинья, не старая, но страстно богомольная вдова, очень работающая колхозница с соседнего хутора. Глаза проповедницы алчно вспыхнули.

— Только с этой ты не торопись, — предупредила странноприимица. — С месяцок надо понюхаться вокруг да около. Письмецо от Еремея ей по-бабьи напиши, а Неонилка подбросит.

— Твое слово закон, — проговорила Платонида, впадая снова в свой обычный тон. — А мне скажи, чем прогневала Христа грешница Ефросинья?

Минодора перечислила:

— В церковь ходит, с попами дружит, в колхозе робит, а с председателем поругалась и бездушным бюрократом обозвала.

Платонида стукнула костылем и закивала.

— Избенка у ней на ладан дышит, — объяснила Минодора. — Летом в своей живет, а зимами постоялкой мается. Лесу да помощи выпрашивает, а председатель на солдаток указывает: вон, мол, какая орава за помощью прет...

— Сам Христос предает ее в руки мои!

— Только не торопись; зануздаешь да приведешь эту бабу — тысячу выложу!..

...Платонида отправилась к Ефросинье в тот самый день, когда Агапита и Капитолина стежили одеяло. Выпроводив Платониду через огород, Прохор Петрович наказал Варёнке следить за баней, вышел за ворота и сел

на лавочку возле погребца. «Укостыляла каракатица, — с ненавистью подумал он о проповеднице. — Хвати, так на хутор, как в тот раз с Минодорой договаривались». Именно эта догадка и всколыхнула в нем воспоминания о печном душнике, тайной беседе между Минодорой и Платонидой и полученной затем от дочери головомойке, после которой Прохор Петрович отказался ведать делами послуха, довольствуясь лишь бдением на улице и подслушиванием разговоров братии.

Но сегодня он оскандалился и на этом.

Вытащив напуганную Капитолиной Варёнку из-под амбара, Прохор Петрович снова ушел за ворота и присел на лавочку. Улица под горой была пустынна и тиха, словно все живое попряталось от палящего зноя и выжидающе примолкло. Старик сидел и дремал; он не сразу расслышал дикий крик Варёнки:

— Прощка, медведь во дворе!

Старик бросился во двор.

Там стоял и, скаля зубы, смеялся над забравшейся под крыльцо Варёнкой низкорослый старик-татарин в черной выхухоловой шапке. Узнав своего постоянного косаря, Прохор Петрович назначил ему срок начала работы, выпроводил и вздохнул: «Старею-с, заснул. Будет потасовка от Дорушки, если Варёнка проболтается!»

Размышляя, что лучше пообещать Варёнке за молчание, старик припомнил свой недавний конфуз с письмами. Однажды он вручил Гурию готовые «послания пророка Иеремии» и не заметил среди них объяснительную записку Минодоры правлению колхоза о проросшем на складе просе. Хорошо, что Гурий взглянул на бумажку, прежде чем сунул ее в чужое окно, и, не увидев на ней креста, снова спрятал ее в карман. Гурий не сказал об этом странно-примице, однако пожурил Прохора Петровича и запретил ему писать «святые» послания за дочерней конторкой. «Тот пожалел, — горестно думал старик, — а дура не пожалеет, за сладкое на все пойдет!»

Так оно и случилось.

— Куд-кудах, Минодорка!.. Баню теперь сама топи, — заявила Варёнка, как только кладовщица вернулась с работы. — Там полосатый живет и рюхат!

Коровину пришлось повиниться. Располыхавшаяся Минодора швырнула в лицо отца своего рыжего кота. Вытирая кровь на расцарапанном кошачьими когтями носу,

старик попытался перевалить часть вины на Платониду.

— Это она-с, она опоганила баню, — бормотал он, указывая дрожащим пальцем на печной душник. — Она послала туда Капку с Агапиткой. Воля-с, воля дана ей, пучеглазой иродице!

— Платонидку! — выдохнула странноприимица.

Варёнка сломя голову кинулась в обитель.

Проповедница только сейчас вернулась от вдовы Ефросиньи; и по тому, как она сразу переделалась во все черное и удалилась в молельню, было понятно, что визит к очередной грешнице не удался. За последние годы подобных неудач становилось все больше, и у проповедницы выработалась особая привычка. Она одевалась в черный хитон, брала тяжелую лестовку из черных граненых бус литого стекла, уединялась в молельню и, встав на колени, пропевала с начала и до конца скорбную Давидову песнь «На реках вавилонских тамо седохом и плакахом».

— Эй, куд-кудах, старая ведьма! — крикнула дурочка, подражая своей хозяйке. — Айда к Минодорке! Чичас же, медведь полосатый; опоздаешь — дак увидишь чё будет!

Платонида с лестовкой в руке поднялась вверх. Спустя несколько минут к матери-странноприимице были призваны Неонила и Капитолина; Агапита не смогла подняться с постели.

Переживая горе своей новой подруги, Капитолина выглядела необыкновенно грустной. Озорной блеск ее серосиних глаз заметно поблек, губы были скорбно поджаты, пышные волосы заплетены в короткую толстую косу. Но взглянув на Варёнку и вспомнив давешний ее переполох, девушка не смогла подавить улыбки.

— Ишь ты! — прошипела странноприимица, чувствуя, как выступает на лбу знакомая испарина. — Иш-ш-ш, она еще улыбится, она еще.. Ну-ка, мокрица, винись: что в бане делала?

— Ваше одеяло стежила...

Красивая и статная, в цветастом платье, Минодора сидела на стуле возле своей конторки, сложив на высокой груди полные белые руки. Голова ее вздрагивала, поблескивали шпильки в короне светло-бронзовых волос. На сундуке, скособочившись, сидела Платонида; подстать своему одеянию, она была мрачна и смотрела в пол; по складкам ее хитона изогнувшейся суставчатой змеей ниспадала стеклянная лестовка.

Напротив проповедницы, возле шкафа с посудой, стоял Коровин и не моргая глядел на дочь; он был похож на волка своим ощерившимся ртом и ошетинившимся серым бобриком, с капельками крови на носу. Держась за ключик, привязанный к поясу старика, словно плача, беззвучно хихикала Варёнка. Поодаль от всех раболепно сутулилась и что-то шептала Неонила.

— Одеяло стежила, — скривив губы, повторила Минодора. — А еще что?

— Разговаривали.

— Разговаривали, так, так. Ну, а потом что?

— Варёнку напугала...

— Скоморошничала, — глухо перебила Платонида. — Беса тешила!

— Нет, не беса! Напугала, чтобы не подслушивала. У нас секретов нету. Калистратовой шубой напугала.

— А-а-а! — будто простонала странноприимица. — Калистра-а-атовой?!. Я тебе выверну Калистратову шубу, я т-тебе...

Минодора вскочила, рванулась к Капитолине, но остановилась, окинула всех диким взглядом, схватила за плечо Варёнку и пихнула ее на середину комнаты.

— Ты, пугало, дай этой... Постой, вот...

Она вырвала из рук Платониды лестовку.

— На!.. Бей по морде!.. А ты держи, — приказала странноприимица Неониле. — Лапы ей назад!.. Кому сказано?!

Капитолина побледнела и оглянулась на Неонилу.

— Уволь, матушка, — растерянно поклонилась старуха и прижала руки к груди. — Я не стану.

— Кто тебя кормит?!

— Сама ем, матушка, святым послухом питаюсь, куда силушка есть.

— Рабы да повинуются! — строго сказала проповедница.

— Уволь, Платонидушка, рученьки — плéти, ноженьки — кисельны. Я травинки-былинки не таптывала, а человека...

Коровин, поглаживая бородку, направился было к двери горницы, но вдруг обернулся и сзади бросился на Капитолину. Он заломил девушке руки, схватил за косу, всей тяжестью своего тела оттянул ее голову и прохрипел:

— Бей!

— По шарам? — хихикнула Варёнка.

— Меду дам! — крикнула ей Минодора.

Варёнка взвизгнула и со всего размаху хлестнула лестовкой по лицу Капитолины. Дурочка подскакивала, ругалась всеми словами, каким успела научиться от своей хозяйки, и била, била... Побелевшая, с остановившимися глазами, будто нарочито шипя, Минодора отсчитывала удары: «Шес-сть, с-семь, вос-семь». Капитолина крутила головой, отпинавалась ногами, но молчала. Неонила не выдержала, ввязалась было отнимать девушку, но в этот момент шнурок лестовки лопнул и стеклянные бусы градом рассыпались по полу. Варёнка покачнулась, взмахнула руками, ударилась головой о кромку посудного шкафа, упала и забилась в припадке. Коровин отшвырнул Капитолину к двери. Пошатываясь, она поправила волосы, брезгливо скривила окровавленные губы:

— Все на одну... А бог-то?.. Эх вы!

Повернулась и вышла вон.

— Бога вспомнила, — проскрипела Платонида: — Бог везде найдет!

Неонила покосилась на проповедницу и без обычного поклона вышла вслед за Капитолиной.

— Грех ваш, миленькие, — молвила она в дверях.

— Ну-ка, воин, оттащи эту падаль, — приказала отцу Минодора, кивнув на бесчувственную Варёнку.

Вошел Калистрат.

В короткой рубахе, замызганной до лоска и давно утратившей свой первоначальный цвет, подпоясанный обрывком тесемки, в заскорузлых, будто сыромятных штанах, босой, он был сегодня еще мощней и угловатей. Взлохмаченные, позабывшие о ножницах и гребне волосы и борода скрывали его лоб, лиловые впалые щеки и огромный отвислый подбородок. Открытой, словно нарочито выпученной оставалась лишь середина лица, изуродованного оспой. Даже глаза казались щербатыми от мелких черных крапинок. Прерывисто дыша, он словно воткнул тяжелый взгляд в лицо Минодоры.

— Чего пожаловал, коли не зван! — спросила странно-примица, стараясь быть строгой.

— Ныне мы по делу, — ответил мужик без тени обычной робости. — Интересуемся, кто здесь девку забижал?..

Али все скопом?.. Гляди, Минодоря, кабы... Мы тоже с норовом!

Калистрат оглядел свои пудовые кулаки, неуклюже потоптался и вышел.

— Ишь ты... Обезьяний король! — поддельно засмеялась Минодора, потом рывком повернулась к Платониде: — Ступай к ним да спокой водвори.

Выпроводив проповедницу из комнаты, Минодора переоделась, подошла к зеркалу и распечатала флакон «Красного мака». Смачивая одеколоном пылающее лицо, шею и голову, она не замечала, что жидкость льется на платье, на коричневые полусапожки. За многие годы своего странноприимства она впервые не испытывала торжества полномочной повелительницы. Наглость девчонки представлялась ей безмерной: сопротивляться, когда ее наказывает мать-странноприимица — кто это видывал в общине? Давно ли в этой же самой комнате белобородый старец Мефодий, покрытый чирьями и паршой, ползал на четвереньках и вымаливал прощения — не у Минодоры, а у суковатой палки, которая в руках наказующей странноприимицы рвала его болячки?.. А эта смиренница Неонила — как она ответила своей кормилице? «Сама ем, матушка». Сама ест?! А кто приносит из колхозного амбара то, что едят?

Она занялась косами и вспомнила Калистрата, — и это ничтожество подняло голос против нее?..

Минодора всегда ощущала потребность в мужчине. Но те, которых она каждодневно видела, казались ей слишком обыкновенными и ничем не отвечали ее вкусам. Однажды летом на узарской мельнице она встретила Калистрата, конюха соседнего колхоза, присмотрелась к нему, поговорила с ним и определила: «Этот — по мне». Они сблизились в ту же ночь, в помельне. Но вскоре грянула война. Не встречая больше Калистрата, Минодора считала его мобилизованным в армию. А он получил отсрочку на год, жил дома, полагая, что давний случай на мельнице лишь бабья блажь, и новой встречи с Минодорой не доискивался. Оба они удивились, столкнувшись на рынке областного города; она продавала рукоделия странниц и странников, а он, теперь действительно мобилизованный, присматривал купить шерстяные носки и вязаную фуфайку. Минодора выбрала из непчатого мешка самое лучшее, прибавила еще перчатки и шарф, потом привела Калистрата на свою городскую

квартиру. Он выпил стаканчик водки и захмелел, со второго затянул какую-то нескладную песню, а после третьего сполз под стол и залился всепотрясающим храпом. Минодоре стало ясно, что Калистрат выпить любит, но пьет безубыточно; такого не трудно удержать и приручить, у нее будет мужчина и работник!.. Калистрат пришел в себя лишь на тринадцатые сутки. Он лежал на топчане в келье узарской обители. В тот же день Минодора сообщила ему, что на сельских сходах района он объявлен дезертиром и что всех дезертиров расстреливают. Ласкаясь, она богом поклялась спасти его, заявила, что после войны уедет с ним из Узара подальше на Урал, выйдет за него замуж и при регистрации брака переведет его на свою фамилию. Он присмирел, с тех пор не вспоминал при Минодоре об истории своего пленения, работал за пятерых, послушно исполнял все прихоти капризной и развращенной хозяйки и даже прилежно молился на Платонидиных зорницах. Странно-примице казалось, что зверь приручен — и вдруг оч явился защитником этой паршивой девчонки!.. «Ничего, покуда война — не свернешься», — самонадеянно пригрозила Минодора, надевая жакет.

— Ты, Дорушка, ушла-с? — спросил Прохор Петрович.

— На собрание, — буркнула Минодора. — Гляди тут, а то опять чертей спущу!

Солнце пряталось за пожарным сараем, и по улице наискось ложились тени построек. Там, где в погожие дни зеленела лужайка, около палисадников, возле плетней и прясел, перед кучей сбунтованных бревен, тени были гуще, и эти места напоминали Минодоре свежеврытые ямы. Быть может, потому что за спиной Минодоры с востока наплывала туча, а прямо на запад дул свежий ветерок, заходящее солнце казалось ей нестерпимо ярким. Ее раздражали и пылающие отблеском заката окна домов, и тополя во дворе колхозного детского сада, шевелимые ветерком и серебрящиеся, точно на них упал иней, и первомайский флаг над крышей правления колхоза — он порхал, словно краснокрылая птица, стремящаяся к солнцу. И чем ближе Минодора подходила к школе, где сегодня собирались колхозники, тем сильнее ее душу окутывало чувство настороженности, страха и озлобления. Это чувство стало знакомо ей с тех пор, как она приняла в свой дом первого странника-скрытника, а из колхозного амбара унесла в собственный ларь первые карманы крупы и муки. С этого дня дорожка

на колхозные собрания казалась ей тяжелой: а вдруг дознаются и разоблачат?

Возле школы одиноко стоял парень.

Это был сын колхозного мельника, семнадцатилетний Арсений, стройный и плотный, с черными открытыми глазами под темным чубиком, как ласточкино крылышко свисавшим над стрельчатой бровью. То ли за кавказские черты лица, то ли за вечно неунывающий горячий характер и откровенное добродушие, но один из бывалых односельчан прозвал парня Арсеном, и это имя прильнуло к нему. Он и сам подчеркивал это сходство неизменным щеголеватым костюмом — темной рубашкой с застежкой-молнией, брюками галифе, заправленными в легкие брезентовые сапоги, и легкой черной кубанкой.

— Куме Прохоровне! — весело крикнул он подходившей Минодоре. — Сто лет ходить да двести на карачках ползать! Как земля носит, как живем?

— Хлеб жуем, — скрепившись, постаралась весело же ответить Минодора. — Только что я тебе за кума?

— Здравствуйте! Колхозный амбар с колхозной мельницей завсегда родня. На собрании? И я; замещаю папашу: он воет, я голосую. Что слышно в вашенском амбаре про второй фронт?

Натянута улыбаясь, Минодора молчала. «Мельница так мельница ты и есть», — думала она о парне, а он, болтая, поглядывал на нее искоса и мысленно посмеивался: «Уж больно ты надушенная да расфуфыренная. И кто бы это объяснил мне — для чего старушечка фуфырится?»

В школе было густо накурено. Уступив скамьи женщинам (парты на днях покрасили и вынесли на просушку), мужчины сидели на полу, будто подперев спинами стены. Арсен облюбовал место надалеко от порога и втиснулся между двумя юнцами. Минодора прошла к скамье и села с краю, рядом с Лизаветой Юрковой.

За столом, положив блестящую бритую голову на ладонь, сидел приезжий районный работник, а рядом с ним на длинной скамье — три члена правления колхоза и двое учителей. Они слушали колхозников хуторской бригады — лысого мужчину в старинном кафтане и женщину в серой пуховой шали. Хуторяне, примостившись на подоконнике, попеременно тянулись к столу и что-то рассказывали так тихо, что приезжий, вслушиваясь, морщил большой почти коричневый от загара лоб. Кругом шумели проходящие

колхозники. Среди шума выделялись звонкий тенорок Трофима Юркова и густой, как звук многопудового колокола, бас деда Демидыча. Борода Демидыча полоскалась из стороны в сторону.

— Бесноватый! — доказывал Демидыч, потрясая развернутой газетой. — Вот она, в ней все здесь прописано: бес-но-ватый фулер!.. И выходит, что в нем черт!.. Газете не веришь?.. С Демидычем, брат, спорь, да оглядывайся!

— Да никакого черта, Демидыч, — возражал Трофим Фомич. — Ни черта в нем, ни дьявола. Так только пишется по-ученому: бесноватый фулер — вроде как собака, которая бесится.

— Ага, ты про собаку?! Ладно, согласен и про собаку. На кой, скажем, хрен, Тимошкины ребята окрестили Гитлером своего щенка?.. Ну-ка?.. Собака — она тварь любезная, ее, скажем, часом и обласкать причтется, а тут кого ласкать?.. Тьфу!.. Да я бы этого бесноватого, тать его в треск, так погладил бы, что... А ты толмачишь: собака!

Послышался хрип, сипение, кашель: старики вокруг засмеялись.

— Отбрил!..

— А я что, супротив? — смущенно улыбаясь, сказал Трофим Фомич. — Я бы сам того фулера за милу душу... Ты вот про Гитлера толмачишь, а сам за религию!

— Кто за религию? — окрысился Демидыч.

— Ты говоришь: в нем черт, а черт-то с богом одного поля ягоды... Черт!.. Стало быть, мы с чертом воюем, ась? С чертом воюет Россия?

— Россия!.. Эка махнул!.. А слыхивал ли ты, что сказал Александра Невский?

— А чего сказал?

— Ну вот, чего он сказал?

— Ну и доложи: чего сказал?

— Про Россию?

— Ну про Россию.

— А кто с мечом придет, — торжественно возгласил Демидыч и было поднял палку, но его перебил Арсен:

— От меча и погибнет! — выкрикнул он.

Старики обернулись на паренька. Кое-кто из них неодобрительно хмыкнул. Демидыч от удивления широко открыл рот и, шурша газетой, потянулся снять очки. Трофим Фомич рассмеялся.

— Ловко знает парень, — громко похвалил он Арсена.

— То-то, — проговорил Демидыч. — Не в пусто говорят, что орел мух не ловит. Молодчина, Арсенко... С нами, говорю, спорь, да оглядывайся!

— Граждане! — встал председатель колхоза Рогов, и его деревянная нога скрипнула. — Бросай курить. Начнем собрание. Наметьте президиум.

— Правление колхоза!

— Еще?

— Хватит, не молотить ведь!

— Повестка: текущий момент и сенокос. Думайте.

— Сенокосье в первую очередь!

— Повестку утвердить?

— Зачинай с текущего, — за всех отозвался дед Демидыч.

— Слово товарищу Бойцову.

Приезжий поднялся. Рядом с председателем колхоза он казался слишком низкорослым. Сунув пустой рукав своего офицерского кителя за поясной ремень, окинул людей усталым взглядом и сказал:

— Товарищи...

— Дайте тишину, — перебил докладчика Рогов.

Эта привычка председателя — всегда перебивать оратора на первом слове — была знакома узарцам, как все знали и то, что сейчас он подхватит рукой свою деревяшку, стукнет ею в пол, сядет прямо и будет строго следить за порядком; так у него повелось с самой гражданской войны.

Как бы в противовес неказистой наружности, голос Бойцова оказался густым и гибким. Он начал с утренних сообщений Советского Информбюро об успехах наступающей Советской Армии, а потом перешел к местным событиям.

— Ясно, что есть недруги и в нашем тылу, — негромко но четко говорил он. — Это расхитители общественной собственности, обкрадывающие народ в самую лютую годину. Это спекулянты, жиреющие на крови и слезах народа; такие в нашем районе были, мы их осудили; но все ли они выявлены?.. Это дезертиры и их укрыватели, вонзающие нож в спину Советской Армии. Я говорю об этом для того, чтобы наши люди знали о подлой нечисти. Вам понятно, что вся эта свора помогает нашему врагу. А всем ли вам ясно, на чью мельницу льют воду вот такие грамоты?..

Бойцов растряхнул и приподнял над столом два «святых» письма.

— Их мне только что передали ваши колхозники. Письма, дескать, с неба, от пророка Еремея... Не мое дело выяснять, чья это работа, но моя обязанность сказать вам правду о ней. Это враги пытаются навредить нам, когда наша армия сражается уже под Минском и Петрозаводском, а тыл готовится к уборке урожая. Враги хотят ослабить наше трудовое напряжение. Враги стараются сыграть на заблуждениях религиозных людей. Но здесь враги просчитались; только тощенькая кучка слепцов поддалась на их провокацию. Патриоты же, истинные колхозники сами разоблачили ее, хотя письма подбрасывались людям верующим. Почему разоблачили? Потому, что могилой и плесенью смердят эти листовки, плесенью и могилой — от черного креста до аминя!

Минодора покосилась на хуторян. По комнате прокатился неясный гул голосов.

С подоконника встал хуторской колхозник. И самое окно от нижней до верхней подушки, и сидящую на нем Ефросинью он сразу скрыл от собрания своей фигурой и заговорил сперва степенно, тягуче:

— Я по то и пришел, чтобы письмо заявить да послушать, чего про войну скажут, а к сенокосью хуторская бригада хоть завтра. Касательно если леригии, то уж, не обессудьте, верую! А было так, граждане. Я по порядку, как сохой. В субботу этак сходил я в баню, напился квасом и лег на полатцы. Катаюсь по войлоку, а уснуть не могу; об ребятах, об сыновьях думаю. Вдруг окошко скри-и-ип. И опять — скри-и-ип... Брысь, кричу: думал — кошка. Утром на подоконнике письмо вверх крестом, а крест-от не наш, восьмиглав, — четырехглавый. Я читать, перечитывать — и что-то, мол, не ладно, да к бригадиру.

— Ну и что? — не стерпев, глухо спросила Лизавета.

— Разобрались! — строго потряс лысиной хуторянин. — Выходило: все бросать, всех разогнать — и на восток! Хозяйствишко, выходит, на ветер. Жил, жил — и тпру, стой!.. А кто грамоту с почетом от района за лен имеет — тоже гнать? А грамоту я имею. Мне шестьдесят шестой, а роблю за четверых. Сын воюет — за него, сын в Казани учится — за него, сын монтером на заводе — за него. Да и так скажу: бог богом, а Гитлера нам дотрясать!.. Поди, думают граждане: где, мол, козы во дворе, там и козел через тын лезет, — ан не тут-то было!.. Поймаю этого козла, то бишь пророкова поштальёна, полозья через башку

навыворот к пупку загну. Без помощников справлюсь. Вот видит бог, сделаю!

Он стукнул себя кулаком в грудь и сел.

— Такой сомнет! — сквозь смех собрания крикнул Демидыч. .

Слово потребовала Ефросинья; у вдовы был решительный вид. В темном платье нескладного шитья, в серой распахнутой пуховой шали она напоминала чем-то озлобленную курицу-парунью. Не глянув на мужчин даже косым взглядом, она повернулась к женщинам и заговорила часто, будто спеша:

— Скажут бабоньки: «Ну, раскудахталась попова дочь в шале в такую-то жарынь!» А я скажу: не хвораю, только лихорадка от злости бьет, что не словила я ее, собачью отраву!

— Лихорадку-то? — пошутил Арсен.

— Писаку! — отрезала вдова и бухнула кулаком по плечу сидящего спиною к ней учителя. — Писаку, бабу-ягу. И не перешибай!.. А было тоже на воскресенье. Олашки я завела. Утром поесть — да в церкву. Солнышко высунулось, встала я, пошла по дрова, а в сенях у дверышки грамота. Вижу: крестик на ней, потом писано, а чего — куда я с ликбезом-то? Пошла к Паньке, книгоношице. Паниюшка прочитала вот этак одними губами, и мне: «Чепуха!» — а сама грамоту в книжку и захлопнула. Я добиваться: читай, говорю, голосом, может, чего-нито про меня наляпано, читай с конца до конца! Билась, билась она — ну, прочитала. Партейных, слышь, гнать, комсомол — тоже, саван надеть и молиться... Иду домой, а в голове пляски, а самое бьет — ходуном хожу. Неужто пророк с небеси спустился? В войну-то? Еропланы везде, палимёты, как это он скрозь палимётов? Потом думаю: дура, куда ему в такую завироху?.. И кого гнать?.. У сестры Мавры сын Пашанька комсомол; у Домны от первого мужа Алексей партейный; с бригадиром из одного колодца воду пью — гони, попробуй, всех троих!.. Да и робить как бросишь? От роду родов на работу не опаздывала, у бригадира язык не повернется сказать, что Офрося прогульщица, а тут нате-кось!.. Вот и трясуся, что ее, собачью отраву, не загребла да в Совет не доставила... Сегодня заявила прошнырить: как-де баба с моего письма?.. А она писала, все слова её: и пророк Еремей, и глас архангелов, и про колхозы... Засушенная такая, косозада. Евангель вынула,

лампадку. Меня, слышь, бог послал вывести тебя из гнилой трещобы в светлую обитель. Я ее со зла-то турнула, а потом — батюшки, кого отпустила?! Кинулась за ней, а она, собачья отравка, на бугре по ашшинской дороге чешет!

Так же, как говорила, энергично она запахнула шаль, подскочила и села на подоконник; но тут же спрыгнула, повернулась к председателю и, грозя ему пальцем, протараторила:

— А про мою гнилую трещобу баба-яга для тебя сказала! Долго станешь бюрократничать? Смотри, дорогой товарищ Рогов, я до партийного райкома дойду!

У Арсена осталось такое чувство: отшумела молотилка, намолотила сколько надо, чуть-чуть добавила, и стало тихо; кому полагается подбирай намолоченное. Лизавета сразу поняла, о какой косозадой яге шла речь, и, подзадо-ренная Ефросиньей, ощутила страстное желание выступить: «Послушаю, что скажут другие, а потом разгрохаю всю шатию сама». Минодора покраснела; новый провал Платониды разозлил ее, но уловка проповедницы — не ходить в Узар прямой дорогой — успокоила. «Хитра святоша», — в душе рассмеялась она.

После Ефросиньи выступил учитель. Старенький и от природы несловоохотливый человек, он говорил скупой, медленно выкраивая фразы. Пообещал наладить дело с лекциями и беседами, легонько пожурил районные организации за нежелание открыть в Узаре избу-читальню и, точно свалив с себя надоевший груз, сел.

Хлестко, словно стреляя очередями, говорили два бывших азинских красногвардейца-пулеметчика — члены правления колхоза Фрол и Спиридон.

— Пророк с неба сиганул — и райком об Узаре вспомнил: докладчика послал, — язвительно заметил Фрол, посмеиваясь в буденновские усы. — Сколько разов весной в Узар приезжало кино? Раз — «Двух бойцов» казали. Сколько лекций делали за войну? Одну — про блокаду в Ленинграде, — мол, лектора воевать ушли. Николай Юрков только и беседует по фронтовой да по полевой части. Вот и выходит: как аукнется, так и откликнется!.. Товарищ Бойцов заявил, что не наше дело выяснять, кто пишет да подкидывает. Ладно, подождем; может, турки пророками займутся: туркам все равно делать нечего!..

Так же язвительно ухмыляясь, Фрол подмигнул собранию и сел спиной к Бойцову. Арсен повел глазом по муж-

чинам — колхозники пристально глядели на Спиридона: люди привыкли к тому, чтобы вслед за Фролом выступал его боевой соратник.

Спиридон заговорил сквозь удушливый чахоточный кашель. Прежде всего бывший красногвардеец обозвал районных работников подслепыми, а потом потребовал немедленно открыть в Узаре избу-читальню и подвести к ней радио.

— Семь километров от сельклуба, а столбы сами поставим, и точка, — пробасил он; затем постучал в стол пальцем, похожим на дверной крючок, повернулся к Бойцову и пригрозил: — Не сделаете — в область турнем, и точка. Пророки в наступление пошли, а мы какие батареи супротив них выставили?.. Смеемся больше, хихикаем пророкам на пользу. Только, Фролаха, мы турков ждать не станем, а по-азински устроим засаду, изловим Еремея с письмами да на журавле подвесим, чтобы из района видно!... Теперь война, и Бойцов верно окрестил пророков врагами, а с врагом говорят по-военному, и точка!.. Так и доложи райкому, товарищ Бойцов.

Слово попросила Лизавета, но ее без всяких церемоний перебил дед Демидыч. Он поднялся, высокий, кряжистый, сутулый, и заговорил без разрешения председателя.

— Плесень, товарищ Бойцов, верно. Но вот наши учителя сколько собрание мужиков посулами кормят? А ведь посулы-то приелись, лекциев охота!.. Мы почему кричим да спорим?.. Потому, что все вызнать хотим; красная птица перьями, а человек учениями!.. А со Спиридоном не согласен. Видно, ты забыл, Спира, что тебе в коллективизацию за самосуд сказали?.. Изловить надо и осудить надо, только на это власти есть; с нами, говорю, спорь, да того... А нам робить надо во как!.. Пророки велят: не робь!.. А мы им: на-кася выкуси, да обоим с фулером по башкам работой-то, по башкам!.. Теперь давай говори про сенокос; зорька с зорькой целуются, растарабаривать некогда!

Неудовлетворенная собой и собранием Лизавета еле дождалась его конца и заспешила домой, чтобы накормить мужа ужином, но на улице ее задержал Арсен.

— Лизавета Егоровна, можно вас минуток на сто? — шутливо сказал он и, помолчав, пока мимо прошла Минодора, спросил: — Николай Трофимыч не был, — здоров ли?

— Другим делом занят, — нетерпеливо ответила Лизавета и кивнула в сторону девушек, в темноте

приплясывающих под тихую частушку. — Тебя девчата ждут, говори.

— Девчата не тухлые яйца, не лопнут; тут дело по-фильтикультиapistей... Лизавета Егоровна, как настроение Николая Трофимыча по моему адресу, если я к нему, как к родителю?

— Не ошибешься.

— Тогда бубны козыри!.. Передайте ему, что утречком заявлюсь с последними известиями от Советского Информбюро!

Он откозырнул и пошел к девчатам.

«Что-то парень выудил серьезное, коли шуточками сыплет», — подумала Лизавета. Привычку Арсена говорить шуточно о самых серьезных делах и серьезничать в смешном знал каждый узарец: парень со школьной скамьи был селькором районной газеты, но под каким бы псевдонимом он ни укрылся, азинцы узнавали его заметки именно по этой привычке.

Дело же, о котором он говорил, казалось ему серьезным. Как-то в начале недели председатель ревизионной комиссии колхоза, полуслепой старичок, попросил Арсена переписать набело акты последней проверки колхозной кладовой. Парень охотно согласился: авось удастся выловить что-нибудь такое, чем можно похвалиться перед другими колхозами через районную газету — пусть узнают, как работают азинцы. Прежде чем приступить к переписке акта, он на листке бумажки написал заголовок своей будущей заметки «Учитесь у кладовщицы Минодоры Коровиной». Затем почти целиком перенес в корреспонденцию начальные строки акта, что склад запирается тремя замками и опломбировывается, что внутри замечательная чистота — умывальник, мыло, полотенце, зеркало, а продукты хранятся под марлевыми полочками, что весы клеймены и точны, а борьба с грызунами поставлена образцово. «Я им все мышеловки разрисую, — радовался Арсен своей идее. — В общем, строк на сотню!» Последующие разделы акта парня не взволновали: в них торчали голые, как сучковатые палки, цифры. Его внимание привлекли лишь слова «гарнцевый сбор» — это было его профессиональное, мельничное, и парень просто из уважения к словам присмотрелся к цифрам. В актах было записано, что гарнцевый сбор поступал на колхозный склад трижды: 103, 202

и 100 килограммов. Арсен всмотрелся в цифры и, прикрыв глаза, стал вспоминать. «Нет, не помню таких, — наконец пробормотал он про себя. — Сам я сдавал гарницы Минодоре, сам выписывал документы. Нет, другие были цифры». Попросив у матери книгу гарницевых сборов за прошедшую зиму, парень нашел записи и сличил их с записью в акте: да, числа были трехзначными только в книге выглядели так — 198, 292 и 199. Разница показалась небольшой, но она толкнула юношу к двум вопросам: как подделана в документах сумма прописью и сколько украдено муки за прошлые годы?.. Арсен собрался тотчас бежать со своим открытием в правление колхоза, но его задержала мать. Она посоветовала не шуметь, все проверить потихоньку через хорошо грамотное и надежное лицо и подсказала обратиться к Николаю Юркову. Минодору Прохоровну мельничиха назвала «аблакатом» и добавила, что такой же, если не ловчее, «аблакат» и ее родитель Прохор Петрович.

Минодору возвращалась домой одна. После провала Платониды с вербовкой Лизаветы странноприимица сторонилась даже прежних приятельниц, считая их, как и всех других узарцев, своими скрытыми врагами. Она шла медленно, осторожно ступая по неровной сторонней тропинке. В ушах гудели гневные голоса ораторов; и как-то невольно чудились в них и угроза, и презрение к ней, Минодоре. Оттого и сердце билось неровно и ноги ступали неуверенно. Но что, собственно, произошло? Стоило ли тревожиться из-за того, что они наговорили? Касались ли их разговоры ее, Минодоры, как кладовщицы либо как странноприимицы? Назвал ли кто-нибудь хотя бы намеком ее имя, кивнул ли в сторону дома на пригорке?.. Нет, не было ни того, ни другого. Разговор шел о письмах, но кто их писал, кто подбрасывал — это требуется еще установить и доказать. Милиция, прокуратура, суд очертя голову не набросятся — это всем хорошо известно. Да, в конце концов, пусть хоть кто-нибудь словом тронет жену человека, расстрелянного белыми — вся Москва на ноги встанет; это много раз спасало Минодору от неприятностей. Был разговор о Платониде, но откуда знать Минодоре, что это за кривоножка, где она живет и чем занимается? Говорят, что ушла по ашынской дороге — ну, так в Ашье и спрашивайте, там и ищите, в церкви, у попов. Поэтому стоит ли тревожиться?..

«Нет уж, — тотчас же строго возразила она себе, — береженного и бог бережет. В доме непорядки, вот что сперва. Дневной послух по двору — к черту его! Пускай клячи робят ночью. Во дворе да в огороде ночью, а днем по кельям. Робили же раньше и не ослепли, не передохли, зато спокой был. Потом с этой, с Капкой, — выдаст мокрица! Сама себя решит, а выдаст. Не даром же в погребу с Калистратом разговаривала... Да, так и придется сделать, как с прошлогодним сопляком, с Фролкой: в мешок да в пруд!.. Того щенка и от войны спасли, и в общину окрестили, а робить не захотел: не раб-де я вам... Вот те и не раб — уплыл, поди, со льдом-то в Каму, если рыба не съела!.. И эта синешарая из таких же. Платонида хорошо про Калистрата придумала — распалить... Он в этих делах волк волком: придушит, да свое возьмет. А уж придушит, так хоть за сто верст стащит. На какой мне черт такая помытчица — дрожи из-за нее... Да скорее, скорее надо!.. Потом Гурька... Хвост прижать, чтобы не шибко носился со своими письмами, больно храбер да яростен!.. И с Платонидкой ровно их черт сравил: где бы ни сошлись — как две собаки. Ужо заявится Конон, пожалуй. Он наведет порядок, он пресвитер, да и ко мне чего-то уж больно льнет. Не знаю, по-мужскому ли, по-дельному ли, по ровню муха к меду».

Минодора поднялась с улицы на свой пригорок, свеонула с тропки к погребу и, нащупав лавочку, устало опустилась на нее. Утомленная дневным зноем и взбудораженная вечерними передрягами странноприимица нуждалась в прохладе и покое. Хотелось подумать, помечтать, прикрыв свои мысли от посторонних чернотой этой весенней ночи.

В конце деревни в окошке Юрковых горел единственный огонек; он напоминал мутноватую звездочку, заблудившуюся в темном пространстве между горизонтом и лесом. Близкий днем, лес теперь почти сливался с сизою тучей, а на легких вздохах ветерка из него доносился резкий запах смолы.

Она просидела возле погреба до первых петухов. Мысли вертелись вокруг Капитолины с Калистратом, но какого-либо нового, иного решения не принесли: девушка осталась обреченной, и чем скорее, по замыслам странноприимицы, совершится казнь ослушницы, тем лучше.

Странноприимица жалела только, что нельзя казнить ни сегодня, ни завтра, что надо склонить к делу проповедницу и непременно ждать благословения пресвитера, — так заведено исстари. «Ладно, Платонидке напою в уши, а Конон вот-вот заявится, окрутим и его». Вспомнив о Кононе, странноприимица обдумала и давнишнее предложение пресвитера.

Прошедшей зимой, выслушав жалобы Минодоры на шаткое положение обители в столь маленьком Узаре, где все подозревают и в любой момент «прихлопнут», Конон предложил странноприимице перебраться в областной город и устроить обитель там.

— В городе людно и покойно, — сидя вразвалку и уставив на Минодору свои оловянные глаза, говорил он. — Продается домов множество, выберете сами. Я помогу вам средствами, а община — трудом; в этом не сомневайтесь. Заживете королевой. Весною скажете мне ваше последнее слово.

В самом деле, почему бы не переехать в город? «Как только заявится Конон, дам ему свое согласие. До осени он сам подыщет, купит дом и оборудует городскую обитель. Тем временем я выращу и убегу урожай картофеля и овощей, с помощью пресвитера тайно отправлю пожитки в город, а когда все будет устроено, поступлю со здешним домом точно так же, как в свое время поступил отец: страховая премия тоже деньги!»

— Да и с этими окаянными гарнцами развяжусь, — вставая, облегченно прошептала она. — Душу вымотали, а уеду и — конец!

Повеселев, Минодора нашарила пальцем секретную задвижку, отперла ворота и вошла во двор. В курятнике беспокойно завоились и спросонья заклохотали куры. «Кого-то черт понес в нужник, — со злостью подумала странноприимица. — Обожрутся свиньи и булгачат всю ночь. Запретить это надо».

Из узкого лаза курятника появился Гурий; одетый во все черное, худой и малорослый, он показался Минодоре необычно толстобрюхим. Вспомнив, что в эту ночь она никому из странников наружных работ не назначала, Минодора сообразила, что Гурий направляется по своим делам.

— Ты, ночной сыч! — подойдя к нему вплотную, громко прошептала она. — Поприжал бы немного свои хлопоты, письма твои...

— Ну, слушайте, довольно! — огрызнулся тот, точно сварливый козел, потрясая своей паршивенькой бороденкой. — Я не люблю, когда моим дорогом бегают черные кошки. Ступайте в сон, лешак, и не суйте носа в свое не дело!

— Да ты...

— Тихо. Идите спатькаться!

— Я пресвитеру...

— Жалуйтесь, слушайте, но проваливайте, хоть на преисподней! — прошипел он и, придерживая живот рукою, проскользнул мимо странноприимицы.

Пораженная Минодора отшатнулась, а когда пришла в себя, фигура Гурия мелькнула уже во мгле садика.

— Ну ладно, сатана. Явится Конон, я с тобой поговорю! — погрозила она, сжимая кулаки.

Странноприимице даже во сне не снилось, чтобы какой-то вылинявший человечешка когда-либо что-нибудь предпринял без ее материнского благословения.

— Жранья лишу вонючего пса. Я здесь хозяйка!

V. МЕЧТАНЬЯ БРАТА ГУРИЯ

Между тем Гурий направился к мельнице.

Это был человек, имевший старые счеты с Советской властью и готовый мстить ей чем угодно. Единственный сын и наследник расстрелянного красногвардейцами известного в здешних краях владельца спиртово-химического завода, Виталий Флавианович Гурилев пятнадцатилетним мальчиком был увезен с Урала в Сибирь, но неплохо помнил свою родину. В его памяти вставали могучий лес вокруг небольшого селения, обширный отцовский дом возле каменной церкви на высокой крутой горе и подгорный пруд с тремя парами белоснежных лебедей. Но, подрастая в предместье Иркутска, он постепенно узнавал, кем бы мог стать и чем бы владел, не появивсь Советская власть. Мать не просто рассказывала ему о былом владычестве семьи Гурилевых, нет, она часами просиживала с сыном над альбомом великолепных фотографий и повествовала о каждой из них вкрадчивым, медоточивым голосом, час-тенько срывающимся на скорбь и гнев. Сын слушал рассказы матери, как увлекательный урок, смотрел на яркие

снимки, где высились корпуса гурилевских химических заводов, словно живые стояли пары и тройки чистокровных рысаков, запряженных в элегантные экипажи, и, казалось, еще бурлили музыкой и танцами пышные празднества в родительском доме. К семнадцати годам, похоронив мать и промотав ее золото и серебро, Виталий Гурилев пристроился к шайке тогда еще недобитого колчаковца Сенотрусова. Юнец не помнил, сколько он повесил коммунистов, изнасиловал и умертвил комсомолок, сжег сибирских деревень; он жадно и ненасытно упивался мстью и славой примерного палача, но был изловлен. Советская власть пощадила его молодость, заменив расстрел трудовыми лагерями. Но волчонку снился лес. В лагере он сдружился с врангелевцем Кондратом Синайским, и в мае тридцатого года приятели не вернулись с лесных работ в арестантскую казарму. Однако на свободе, как говорится, не сошлись во мнениях: один рвался к открытому террору, другой оказал расчетливую умеренность — и разбрелись в разные стороны. Опять занявшийся бандитизмом и вредительством — там зарежет проезжего человека с портфелем, здесь колхозные клады либо лес подожжет — Гурилев снова попался, но по делу простого грабежа, не без задней мысли назвался безродным зырянином и за десяток лет настолько привык к своей новой роли, что вообще разучился чисто говорить. В первые дни войны с фашистами Гурилев записался в добровольцы, был отправлен на фронт, ночью выкрал у заснувшего новобранца-часового револьвер и снова сбежал, теперь из воинского эшелона. На Урале он пристал к секте не то хлыстов, не то баптистов — беспаспортников, бродил по деревням, проповедовал учение секты по заповеди «не убий», сочинял и разбрасывал «святые» письма. В этих-то скитаниях он и встретился с близким другом Кондрата Синайского странником Агафангелом, узнал, что Кондрат теперь Конон и глава общины скрытников, а спустя некоторое время свиделся и с самим пресвитером.

— Х-ха, вот лешак так уж лешак! — воскликнул бывший сенотрусовец, пожимая руку бывшему врангелевцу. — Ты удивлен мой разговор?.. Х-ха, тринадцатый год зырянином кожу, языком смерти спасался, теперь привыкал, корошо!.. Давай прятай меня свою секту, лешак. Надежный прячь; найдут — расстреляют тебя да меня. Война кончится, оба Китаю перекодим!

Трусоватый от природы, Конон согласился, назвал приятеля Гурием, отвел его в узарскую обитель и, чтобы отвлечь яростного террориста от слишком горячих мыслей, наказал заниматься только «пророческими» письмами.

Но под новым именем был прежний бандит. «Чистить хлев? — рассуждал Гурий. — Пусть чистят дураки!.. Вязать сети с Калистратом, составлять «святые» письма, носиться с ними по округе, прозябать на грязной подстилке в паршивой келье — слуга покорный!.. Мы найдем дело, что ахнет и сам Кондрат Синайский!»

И он стал настойчиво искать. Однажды ночью, бродя по окрестностям Узара, Гурий вышел к пруду, великолепием и мощью своей напоминавшему его родной пруд, и сердце бывшего помещика ворохнулось. Вернувшись в обитель, он позвал к себе старика Коровина, расспросил его о пруде и о мельнице, выяснил, что пруд — самое доходное и самое уязвимое место в узарском колхозе, и обрадовался: подвертывалось дело, он спасен от страшного прозябания и может снова и снова мстить.

Трехпоставная водяная мельница с крупорушным и маслобойными станками досталась колхозу имени Азина после раскулачивания узарского богача Луки Силыча и обслуживала до сорока деревень округи. На поймах реки ниже пруда каждую весну зеленели заливные луга — кормовая житница восьми прибрежных колхозов. Ниже по течению было расположено обширное рыбопромысловое хозяйство одного из городских пищевых комбинатов. Веснами перед самым половодьем зимний запас воды спускался из пруда в долину, увлажнял поймы, крушил лед на нижнем плесе и освежал выростные прудики рыбного завода. Вплотную к мельнице пристраивался корпус электрической станции, но стройку тормозила война. Гурий же знал, что, спустив пруд, можно лишить мельницу энергии на целый год, что прибыль весенней воды уже кончилась, а осенний паводок не даст и половины водоема, что затопить поймы надо в те дни, когда на них будет подсыхать скошенная на сено трава, и этой же лавиной воды разрушить всю систему рыбозавода.

Но и это было полдела.

Между селением и прудом, в низине поймы, за жердяной изгородью день и ночь паслось многочисленное стадо общественного молодняка — коров, овец и свиней. Его охраняли четыре немощных старика, постоянно живущих

тут же в ивовых шалашах; а на лугу, близ реки, с утра до ночи резвились дети из колхозного садика.

Гурий ухмылялся, представляя, как в неудержимо хлынувшей воде несутся обломки щитов водоспуска, сливных желобов, жерди пастбищной изгороди, сорванные с притычин верши, бревна и доски мостов, мостиков и переходов, сплошной серо-зеленой массой плывет сено, а в мессиве этого хаоса, барахтаясь, вопят гибнущие дети и орет подхваченный с пастбища скот!..

Однако подобраться к мельнице оказалось не так-то просто. При ней стоял дом с надворными постройками, огородом и домашней пасекой. В доме жили мельничиха Васса, ее сын Арсен и тринадцатилетняя дочурка школьница Федорка, а близ крыльца, в размалеванной пятью красками конуре, обитала серая собака Найда. С мая Гурий почти забросил прогулки с «письмами пророка Иеремии» и превратился в рыбака. Свои рыбацкие походы он начал с верховий пруда, стараясь исподволь привлечь к себе внимание собаки: то посвистыванием, то запахом поджариваемой рыбы, и шаг за шагом передвигал свои стоянки все ближе к плотине, но собака не шла ни на какие приманки. Как-то на восходе солнца Гурий сидел у реки над удочками и раздумывал о своем житье-бытье. Собака выпернулась из-за кустов тальника и налетела так стремительно и с таким злобным лаем, что Гурий от неожиданности перепугался. Но грянул выстрел, за ним второй, собака фыркнула и бросилась за подстреленной уткой. Когда Гурий, дрожа и озираясь, уходил в кусты, собака с добычей в зубах уже мчалась на свист своего хозяина.

Этот арсеновский посвист Гурий слышал каждую ночь. Возвращаясь с молодежных гуляний, парень сразу по выходе из деревни звал собаку, вскоре оба они появлялись на мельнице, Арсен осматривал плотину, уходил в дом, и на пруду до самого утра хозяйничала Найда.

Это бесило Гурия.

Вторая его встреча с собакой произошла ранним утром. Он пришел на водоем глухой ночью, собирался за день сделать кое-какие наблюдения и сидел в зарослях смородинника против ледореза.

— У вас, дядечка, клюет! — раздался рядом осторожный голос.

Гурий вздрогнул, не оглядываясь, дернул удилище, но рыба ушла, чуть затронув наживу.

— Ой, сорвалась!..

На пригнутых к земле ветках смородинника стояла грязноногая девочка в белом с крапинками платье.

— Бегашь туто, рыбу пугашь, — проговорил Гурий, стараясь подражать местному говору. — Возьму вот вицу да шваркну!

— О-о, испужалась! — всплеснув руками, девочка сморщила приплюснутый нос. — Тоже мне шваркало! Я как зыкну Найду, так она из вас мякину сделает... Найда!

В кустах зашуршало, из них выскочила серая собака.

— Ну-ка, замахнитесь! — потягивая Найду за ошейник, поддразнивала девочка. — Тоже мне махало!

— А я ее рыбком приману, — не без умысла сказал Гурий. — Выниму окуня и — на!

— Тю, рыбкой! — засмеялась девочка, запрокинув белобровое лицо, измазанное какой-то бурой ягодой. — Арсен ее кормит дикими утками, и то не жрет, если уж только общипанную.

— Ишь ты, щипаной!

— Федорка! — послышался зычный женский голос от дома. — Айда чай пить, Федорка-а!

— Иду-у!.. Тоже мне чай, морковный-то!..

Она ушла и увела Найду.

В следующую ночь перед рассветом Гурий поймал на хозяйском насесте курицу, начисто ощипал ее в кустах и направился к пруду. Собака бросилась на него с злобным рычанием, едва он появился на тропе к дому мельника. Гурий разорвал курицу надвое и швырнул половину Найде. Она оцепенела, некоторое время постояла, косясь то на человека, то на мясо, потом злобно проглотила подачку и снова зарычала. Гурий бросил ей куриную голову и пошел в сторону леса. Собака гналась за ним, а он бросал ей кусок за куском, приманивая все ближе. Последние кусочки Гурий скормил Найде с ладони и был доволен, что другой ладонью провел по ее колючему хребту, а пальцем пощупал за ушами.

В ночь, когда Минодора возвращалась с собрания, Гурий задушил, спрятал под пиджак и вынес на глазах у хозяйки самую большую курицу, надеясь в конце концов покорить собаку. Найда встретила его на тропе вдалеке от мельницы и все-таки облаяла. Он поманил ее в кусты, дал крылышко и подождал, пока она съела. Потом дал другое

и погладил ей ухо... Сейчас Гурий боялся одного — не свистнул бы Арсен.

Парень возвращался домой раньше обычного; он был взволнован собранием и решил дать отчет о нем в районную газету. «Сейчас покумекаю один, — думал он, шагая к дому, — а утром посоветуюсь с Юрковым». И размышляя о своей будущей заметке, парень вдруг вспомнил о другой, начатой и незаконченной, — перед глазами встали колхозный склад, аккуратная кладовщица и поддельный документ о гарнцевом сборе. словно обо что-то запнувшись, Арсен невольно приостановился. «Неужели правда?.. Ведь говорят?.. Хоть тихонько, но говорят. Ого, как давеча на нее бабы глядели!.. Наряжается краше девки, косы, духи, шелковые платочки — и вдруг сектантка, содержит этих самых... скрытников... Правда, иначе зачем бы ей воровать? Продавать муку здесь некому; ворует и кормит своих жильцов, ей-богу, точно, ей-богу, факт!.. Интересно, что скажет Николай Трофимыч?»

Арсен улыбнулся и свистнул.

Не сожрав и половину курицы, Найда вздрогнула и помчалась на зов. Гурий послал вслед ей страшное ругательство, зашвырнул курицу подальше в кусты и, страшась, как бы Найда не привела хозяина к этому месту, а тот не схватился за ружье, кинулся к речке ниже мельницы. Он долго петлял по воде, путая следы, наконец продрог и направился в обитель.

Уходил, но отступать от замысла не собирался.

VI. ЕЩЕ ОДИН БРАТЧИК

Готовясь к поимке дезертира Калистрата Мосеева, Николай отоспался в своем огороде за две бессонные ночи и вечером, взяв безкурковку, отправился к месту сбора сельисполнителей. В условленном месте за околицей уже сидели трое таких же, как он, раненых и демобилизованных воинов. Они прождали до полуночи, промокли под начавшимся дождем и продрогли от ветра, но участковый инспектор милиции так и не явился. За полночь к месту сбора пришел пятый исполнитель, молоденький заикающийся парнишка с соседнего хутора. Насилу поняли его рассказ, что инспектор погнался за цыганом-конокрадом, что

розыск и задержание дезертира поручены колхозникам той деревни, близ которой его видели и что «К-кал-листратко з-здор-рово м-матерый т-т-тип».

Ворча на тыловые порядки и возмущаясь решением инспектора погнаться за конокрадом, оставив в покое государственного преступника, Николай вернулся домой. До пояса грязный, злой на себя и на людей, он попросил жену собрать поесть и, принявшись за хлеб с молоком, спросил, как прошло собрание.

— Остановил меня на дороге, — рассказав ему о собрании, заговорила Лизавета об Арсене, — и пообещал прийти утром... Отошла я от него и думаю: не о Минодоре ли что говорить собирается?.. Слушай, Коля, ты давеча про какого-то Калистрата упомянул? Это не про того ли, который конюхом в «Первомае» был? Поймали вы его?

— Ветра в поле! — сухо бросил Николай.

— Я так и подумала. Еще давеча, на собрании. Ты шибко-то не усмехайся, бабы ведь тоже кое-что смыслят в делах!..

Она села напротив мужа и, понизив голос, заговорила:

— Не выступала я на собрании. Хотела, шибко хотела, потом одумалась: повременю, с тобой посоветуюсь — и, знаешь, почему? Потому что если бы выступила, то прямо бы на Минодору указала и спугнула бы всю ее шатию, — и Калистрата вашего ищи свищи! А что он у нее — дам голову отрубить. Не усмехайся, не усмехайся, слушай... Когда прошлогодь его дезертиром объявили, мы с Вассой-мельничихой на митинге рядом стояли. Она подтолкнула меня и шепчет: «Гляди, как Минодора зарделась!» Минодора, верно, стояла красней кумача. С чего это она, спрашиваю. «Потом расскажу», — говорит. После собрания Васса зашла ко мне — солдатка к солдатке. За чаем она и рассказала, что Калистрат Мосеев, конюх из «Первомай», — Минодорин любовник, что она своими глазами видела, как они в помельной спали под одним тулупом. Потом и говорит: «Может, сама Минодора и приукрыла своего милеша». Вспомнила я сегодня на собрании этот разговор — и ровно варом меня облило. Ненавижу я эту Минодору Прохоровну, куда бы делась, а сердце, говорят, вещун!..

— Ладно, вещунья, отдыхать пора. Завтра мне распределять бригадам сенокосные участки.

Лизавета встала и, громко вздохнув, ушла в сени.

Николай понимал, что, не поддержав Лизавету против Минодоры и на этот раз, сильно обидел жену своим недоверием. Но как поддержишь, если наверняка не знаешь ничего определенного; что ответишь, коли не продумал чего предпринять? Он чувствовал, что Лизавета в чем-то права, и в душе разделял ее неприязнь к Минодоре; однако предположение, что жена и отец «пересаливают», брало верх: ведь никто из колхозников пока что не сказал «сам видел вот чего» или «твердо знаю за кладовщицей вот что», и лишь кое-кто перешептывался. Николаю хотелось фактов, и он ощутил нечто вроде подъема, когда услышал, что утром придет Арсен с какими-то новостями. Фронтоник действительно любил этого боевого парня, знал о его селькоровской работе и доверял ему. Но что они даже вдвоем могли сделать, кроме как сообщить о своих догадках районной газете?..

Решив поступить с Минодорой именно так, если Арсен чем-то подтвердит подозрения своей матери, Николай задумался о завтрашнем дне; руководство сенокосом правление возложило на него, и это тревожило полевода куда сильнее, чем какие-то скрытники. Подумать же было о чем: все пять закрепленных за бригадами сенокосилок валялись неотремонтированными — узарские кузнецы пока-что воевали; во всем колхозе насчитывалось лишь до полусотни косарей — стариков, старушек и пожилых женщин, зеленая же молодежь литовками косить не умела; ни точильных брусков, ни резцов, ни колец для крепления кос к черенкам не имелось — промышленность работала на оборону страны, и до зарезу нужный сенокосный инструмент колхозники кое-как мастерили сами; сильно беспокоила погода — начинался дождь. На душе полевода было скверно, быть может, еще и потому, что не проходила злость на инспектора милиции, на зря потерянное время, на непоиманного дезертира.

Николай прислушался к доносящемуся из сеней сердитому покашливанию Лизаветы, шагнул к столу, чтобы погасить лампу, но в окно раздался осторожный стук. Подумав, что за чем-то пришел с дежурства отец, Николай открыл створку.

Под самым окном стояла белая лошадь, а верхом на ней сидел человек с ружьем в руке. Юрков узнал в нем знакомого сельисполнителя из деревни, где колхозники заметили дезертира.

— Здоров ли, Трофимыч! — приветствовал сельисполнитель. — Гостя к тебе чуть доволоч по приказу участкового.

— Здравствуйте, товарищ Кустов, — отозвался Николай и, предположив, что Калистрат пойман, потом спросил: — А где гость?

— Вот он, успел с устатку к завальнёшке прилипнуть.

— Давай в избу.

Николай поплотнее задернул подшторники.

Первым вошел высокий широкоплечий человек в шапке колпаком и подпоясанном веревкой сером архалуке. Одеванием он походил на бывшего монаха, а обрюзглым безбородым лицом напоминал скопца. Опираясь на железную трость с крестообразным набалдашником, вошедший опустился на западенку подполья.

Сельисполнитель был низкорослый и седоусый здоровяк. Войдя, он сунул свою берданку меж коленей, снял картуз, распустив охапку пепельно-серых кудрей, потом как-то по-особенному извернулся и стряхнул с себя увесистый мешок.

— Принимай-ка, Трофимыч: евоная котомешка.

— Что в ней? — спросил Юрков, взвешивая за лямки промокший мешок.

— Барахлишко да сухари разной породы.

— Нищий?

— Больно молод для энтого, — ответил Кустов, нажавиваясь протереть тряпкой свое ружье, потом удивленно заморгал и спросил: — Разве это не Калистратишко?.. Вот ядрена шишь, мы думали, попался! И корпусом и обличьем схож, а не он?..

— Ваша фамилия? — не ответив Кустову, обратился Юрков к задержанному. — Мосеев, да?.. Почему не в армии?

Незнакомец молчал, с каким-то подчеркнутым старанием ковырял прыщ на своем и без того израненном язвинками одутловатом лице. Чрезмерно широкий рот его, напоминающий свежерваную рану, кривился при этом то вправо, то влево.

— Я вас спрашиваю, почему не в армии?

— Болен, — произнес незнакомец глухо, будто прожужжав.

— Хворый, слышь ты, потому и не воюет, — вмешался Кустов, значительно ухмыляясь. — А документишка

несту. Объясняет, что злые люди скрали. Ни бумаг, ни денег: попрошанием, слышь, проживает. Сегодня ввечеру наши колхозники его заштопорили. Крадется околицей поля речошки, а в руках — эвон — чертова железина. Крадется с подозрением. А на соломе поблиз овина ребята с девчошками жались. Бессловесно. Увидели чужого — и вовсе примолкли: милицейский приказ про Калистратишку все знают. Потом следить — ночь-то вон какая, будто дегтем свет намазан. Ребята сгребли его, а он железинкой вокруг себя помахал, да отбиваться. Но тут девчошки подоспели, — где ему одному супротив четверых!

Кустов смерил незнакомца оценивающим взглядом и, так же значительно посмеиваясь, объяснил:

— Вгорячах-то, видно, тумачишек навтыкали: ишь, под глазом репка выросла!

— Фамилия как? — подавляя неприязнь к незнакомцу, в котором он сразу же заподозрил дезертира, снова и совсем неласково спросил Юрков. — Мосеев, что ли?

— Бесфамильный, — опять прожужжал незнакомец.

— Бесфамильный Калистрат?

— Агафангелом наречен...

— Ах вон ты кто, странничек, небесный почтальон!

— А-а, да да, да, — закивал сероволосой головой и Кустов. — И у нас письмишки объявились, белой контрой на версту несет!

— Христианин странствующий я, — вдруг возвысил голос незнакомец и выставил свою трость крестом вперед. — От мира бегущий, признаю лишь власть Христа в небеси, земную же презираю!

Злобным взглядом он черкнул по лицам сельисполнителей и отвернулся.

С губ Николая слетела ироническая усмешка.

— Скрытничек! — произнес он так, что Кустов не узнал его голоса. — А по фронтам странствовать кишка тонка? Морда шире лохани, на ней будто черти малину толкали, едва ли перевалило за тридцать, а старцем прикинулся: камилавку напялил, в хламиду нарядился, посошок с крестом отковал!.. Там люди в крови кипят, от треска костей глохнут, жизни свои кладут, а вы, Калистраты-Агафангелы, ножи им в спины садите... Хотя, кому я говорю — этой слякоти?.. Ладно, товарищ Кустов, сведу я его в район, раз приказано; будьте покойны... Обыски-

— Только что поверх кожи, однако глядели в оба, что осталось — все при нем. Вот акт написали...

Кустов полез в карман, но в этот момент распахнулась дверь, на пороге показался Арсен, и сельисполнитель осекся.

— Давай, давай, товарищ Кустов, это парень свой, — объяснил Юрков и обернулся к Арсену: — Ты чего спозаранку?

— В башке свербит, — ответил парень и хлопнул кулаком по лбу. — Поговорить хочу, а скоро зазвонят побудку, и ты уйдешь на свою разнарядку. Только с глазу на глаз... Выйдем?

Они вышли, поплотнее прихлопнув за собою избяную дверь, и сели на крыльцо. Парень начал рассказывать исподволь, чтобы Николаю все было понятно, затем назвал приблизительное количество похищенной Минодороду муки из мельничного гарнцевого сбора и, наконец, заявил:

— Весь Узар знает, что хлеб она не продавала, — точно?.. Конюхи говорят, что на рынок важивала чего-то, мягкое да легкое, в котомках, выходит, свое барахло — точно?.. И опять выходит — где хлеб?.. С уверенностью — нахлебники у ней припрятаны!.. Откуда «святые» письма?.. Не дед же Демидыч пишет!.. Где первомайский дезертир Калистрат скрывается — в лесу или у Проси?!..

— А на западенке в избе не он?

— Нет, тот в миллион раз страшнее. Мы с мамой его всего раз видели, так потом целый год им Федорку пужали!

Юрков засмеялся.

— Точно говорю, — серьезно сказал парень, потом приблизился губами к уху Юркова и зашептал: — Есть предложение проверить... Ночи две-три не посплю, поверчусь около Минодориной крепости, выгляжу все и, если что подмечу...

Он не договорил, рубанул воздух ребром ладони и немножко заискивающе спросил:

— Как вы к этому делу?..

— Не убудет, — сказал Николай, смеясь. — Только без фокусов и единолично, как селькор.

— Могу клятву положить, что даже девки не узнают, не то чтобы родная мать!..

Они встали и попрощались.

Из сознания Николая как-то вдруг сами собою выклю-

чались и негодование жены на Платонида, и рассказ отца о странниках, и «святые» письма. Все это заслонили скрывшийся в доме Минодоры дезертир и слишком очевидное мошенничество кладовщицы с документами. Однако желание подраться с противником невольно охлаждалось предположением — вдруг районные власти станут на букву каких-либо циркуляров и осудят за преследование не кладовщицы-расхитительницы, не дезертира, но религиозной общины?.. Недаром же секретарь исполкома, признав незаконность секты скрытников без регистрации, заявил Лизавете, что регистрирует общину, если будет прошение учредителей. Но является ли преследованием религии то, что он, Николай, поддакнул Арсену проследить за домом Минодоры? Что бы он сделал, не будучи ни депутатом сельсовета, ни членом правления колхоза, ни сельисполнителем? «То же самое, — твердо ответил Юрков себе. — Даже больше: сам бы пошел с Арсеном, выследил бы дезертира, донес бы милиции». А как быть с расхитительницей колхозного хлеба? Тотчас поднять тревогу, учинить ревизию? Нет, лучше подождать, пока в Узар не приедет милиция и не арестует дезертира, иначе скроются и Калистрат и Минодора. «А уж милицию-то я как-нибудь припеку, — улыбнулся Юрков, возвращаясь в дом.

В сенях он окликнул жену:

— Лизута, уже светло... Сходи на конный, приведи Серка в тарантасе; я еду в район, дезертира повезу.

— Слышала, Коленька, не спала, — отозвалась Лизавета, вставая. — Что тебе Арсюшка рассказывал?.. Минодора гарницевую муку ворует?.. Верно, что у нее дезертир-то скрывается?..

— После, Лиза, после, беги на конный!

Проводив жену, Николай вошел в избу.

На западенке в обнимку со своим железным посохом хранил задержанный странник. Николай с минуту глядел на жирное, покрасневшее, прыщеватое лицо верзилы и думал: сколько их на земле, этих никчемных людишек? Сколько вот таких плечистых подлецов прячется по лесам и дакутам огромной страны? Скольких тысяч из них не досчитывается Родина там, на фронтах, пусть в обозах, пусть в обслуживающих командах, пускай даже в тыловых частях? Сколько ущерба причиняют они истерзанной войною, живущей впроголодь стране, тунеядствуя и обжираясь? Какой не поддающийся учету вред сеют по глухим

деревням, кликушествуя и лицемеря? Каким чудовищным грузом повисают на руке народа, занесенной над головою врага?..

— В дороге не пытался сбежать? — спросил он, кивнув Кустову на спящего странника.

— Я упредил, мол, побежишь, так шкурой подаришь, а по дороге нет-нет да и щекотил его загрибок ружьишком... Иначе с ними каши не сваришь!.. Ты тоже ружье бери да поглядывай; ежели он скрытник — значит, убивец. Был у нас в деревнешке один дом, до колхозов жила в нем такая погань, а как раскулачивали хозяина да стали его тайные клады искать — четырнадцать шкелетов в одной яме отрыли: тут и младенчишки, и старики с бородами, и девки с одной косой. На допросах содержатель-то Кирилл Кириллыч с женой Маремьяной сознались, дескать, странные старцы да старицы своих же к смертям предавали: родится детеныш — к смерти, состареет странник до немощения — к смерти, отступник от веры — к смерти. Рай, слышь, мучениками заполняем, Христу радость делаем!.. Был я на суде; у всех волосы шевелились, жуть взяла... У вас в Узаре ведь тоже были?

— Были, — подтвердил Николай, — по хуторам... Ага, вон и лошадь!.. Давай-ка выводим этого апостола.

Николай захватил мешок и посох странника, снял с гвоздя свою безкурковку и вышел во двор.

Сзывая людей на колхозную разнарядку, в деревне звонил колокол. Будто по этому же сигналу Кустов вывел во двор и задержанного. Это был уже не безобидный, мирно пощипывающий свои прыщики странник. К тарантасу приближался человек, облик которого неотразимо напоминал пленного эсэсовца, — бывший фронтовик Юрков немало перевидал их под Москвой и под Курском.

— Я велю ему собираться, а он свою железину требует, — сердито сказал Кустов, кивнув на странника. — Поругались чуток... Он и материться умеет, чудотворишко!

Николай не удивился.

— Дам я ему железину, на дурачка напал, — откликнулся он и приказал страннику: — Влезайте на беседку, берите вожжи. Из ворот направо и вдоль по улице. Оглядываться запрещаю, оглянетесь — спущу курок.

— Не пугай пуганого! — огрызнулся незнакомец, полою архалука отирая распаренное лицо. — Страхи видывали!

— Ого, да ты и в самом деле стреляный волк! — рассмеялся Николай и на виду у задержанного зарядил ружье. — Садись... Садись, черт тебя задери, а то к оглобле привяжу — будешь пешком топать!.. Лиза, открывай ворота.

— Гляди, Коля...

Кустов влез на коня и верхом поехал сзади; два-три километра ему было по пути с Юрковым.

Улица пестрела народом; узарцы с интересом рассматривали человека, сидящего на беседке. Возле правления колхоза, в кругу людей, стоял сердито насупленный председатель Андрей Рогов. Рядом с ним, размахивая руками и откашливаясь, что-то горячо доказывал насупленной Минодоре член правления Спиридон.

— Кольша, отдал бы его нам! — зло пробасил Фрол, когда тарантас поравнялся с толпой. — Мы бы ему, по старой памяти, показали, как дезертировать!

VII. ДЕНЬ И НОЧЬ

Рассеиваемый ветерком мелкий дождь стлался по земле теплым прозрачным туманом. Будто сердясь на сырость, отмахивались от нее тяжелыми ветками потемневшие березы. Бессильный подняться выше, ползал по кровлям строений пахнущий хлебом дымок. Дороги и тропки улицы блестели лужицами, словно по ним для красоты раскидали кусочки битых зеркалец.

Скользя по дождливому небу невеселым взглядом, Андрей Рогов покачивался на скрипящей деревяшке и что-то соображал. Затем он повернулся к колхозникам, столпившимся под навесом пожарного сарая, и распорядился:

— Будет галдеть!.. Поймали, арестовали, увезли и амба — ясно?.. Первой бригаде — за плуги и на пар, бригадиром Спиридон. Вторая на пруд, подсыпать плотину для электрички.

— Бригадир-от вечор в армию уехал...

— За бригадира — Демидыч, ясно?

Андрей Андреевич, потеряв в боях с белогвардейцами правую ногу, не ушел из Красной Армии, а до конца гражданской войны был членом коллегии ревтрибунала. Вернувшись в Узар с началом нэпа, Рогов со своими

друзьями Спиридоном и Фролом создал товарищество по совместной обработке земли, вовлек туда всю бедноту и таким образом заложил надежный фундамент теперешнего колхоза имени Азина. Председателем он работал беспрерывно девятнадцать лет, страстно дорожил честью своей артели и ни капли не щадил тех, кто так или иначе позорил славное имя его любимого командира Владимира Азина. Немногоречивый и строгий, Андрей Андреевич в то же время не лез в карман за словом и при случае умел повернуть к себе любое сердце.

После завтрака вторая бригада, пополненная, по выражению деда Демидыча, «причандалами» — счетоводом, правленческим сторожем, пожарником — гурьбою повалила на плотину. В числе «причандалов» была и кладовщица Минодора; она явилась с железной лопатой на плече. Пристально наблюдавшая за нею Лизавета сумела подметить то, чего не посвященные в узарские тайны колхозницы не замечали, — гордячка и нелюдимка кладовщица вдруг сравнялась с «простонародием», но выглядела сегодня куда мрачнее, чем на вчерашнем собрании. Слышавшая разговор мужа и Арсена о том, что кладовщица — воровка и что в ее хоромах скрывается дезертир Калистрат, Лизавета решила было тотчас пойти к Рогову и факт за фактом рассказать ему о преступных делах Минодоры. Нет, Лизавета не одобряла предложения Спиридона ловить распространителей «святых» писем и вешать их на колодезных журавлях — это было бы чересчур жестоко, скажем, даже для кривобокой проповедницы. Но сорвать маску с Минодоры, всенародно и безо всякой пощады разоблачить ее двуличие и выгнать вон из колхоза — вдруг стало какой-то внутренней потребностью молодой женщины. Только любовь и уважение к мужу удержали ее от решительного шага, но она дала себе слово не спускать глаза с Минодоры.

Мрачность же кладовщицы была естественной. Всевозможные ухищрения, которые приходилось изобретать каждый день, и частые неудачи последних лет истощили и надорвали нервы, расшатали крепкую прежде натуру Минодоры. Странноприимицу неотступно мучил страх перед разоблачением. В часы тяжких раздумий ей мерещился день, когда она не из покорности, но от бессилия поднимет руки перед судьбой.

Причиной сегодняшних тревог Минодоры совершенно

неожиданно стал пойманный и увезенный в район странник Агафангел.

Церковный псаломщик в прошлом, любимец, наперсник и телохранитель пресвитера Конона теперь, Агафангел много раз бывал в узарской обители либо вместе с главною общиной, либо один. Если он являлся с Кононом, то непременно творил расправу над непокорными — это он нес в пруд юношу Фрола, — если приходил один, то обязательно с дурными вестями. Но что он нес сейчас, если шел один? Где сам Конон, если его телохранитель попался? Что будет с нею, Минодорой, если Агафангел признается во всем?.. Эти назойливые мысли и взбудоражили страннопримицу; с ними она ушла на плотину, с ними сидела среди колхозников на бревне и делала вид, что смеется над новой частушкой, распеваемой девчатами:

Ой да, нас пророками пугали,
Мы не испугались, да...
Ой да, как безбожниками были,
Ими и остались, да...

— Тихо, девки! — крикнул бригадир Демидыч и, сдвинув припотевшие от дождя очки на лоб, обернулся к мельничихе: — Васса, вёснуй стояки забивали, так куда бабуну сунули?.. На том берегу?.. На этом?.. Чего нето молчишь... Ребятишки, вези бабуну к копру. Да канат не забудьте, полоротые!

Ребята-подростки погнались лошадью к сараю.

Женщины и старики на канате волокли с берега на плотину копер. Артелью командовал Трофим Фомич. Мокрый, грязный, взъерошенный, старик очень напоминал незадачливого рыбака, суетившегося у невода с уловом.

— Не рви, девки, не рви! — поучал он сорокалетних колхозниц, волочивших копер за веревки. — Не рви!.. С пунку сдернешь, а толку чуть. Надо односильно, с припоронкой, и он те за милую душу покатится. Да запеваму слушай, запеваму... Пой, Никон!

Черный, как головешка, старик Никон мотнул седенькой бороденкой, будто для того чтобы стряхнуть с тощего лица бисер дождя, зачем-то отвернулся в сторону от артели и по-козлиному заверещал:

— Хэ-эй, ду-бину-у-ушка. »

Засмотревшись на необычайно смешного запеваму, колхозники рванули за канат, но снова порознь, — копер лишь заскрипел и покачнулся.

— Да ты не растягивай, не растягивай! — прокричал Трофим Фомич сконфузившемуся Никону. — Ты солдатским манером ори, вроде бы под шаг; помнишь, как Фаддей запевал?

— Отзапевал мой Фаддей у копра, — выронив веревку, плаксиво произнесла смуглая остролицая колхозница и мокрой щепотью потянулась к носу. — Запевает, поди... в окопах.... под бомбами.

Бросили веревку и остальные женщины.

— А ты не куксись, Прося, не куксись, — ласково сказал Трофим Фомич. — И с окопов вертаются: вернулся же мой Николай, и твой Фаддей вернется. Наше дело обещать поддерживать окопы-то. Ну-ка, старики, перепутайтесь через девок в обе стороны, не лучше ли рванем.

Кряхтя и мяся лаптями вязкую глину, старики встали попеременно с женщинами.

— Пой, Никон...

— Дьякона выискал! — опять рассмешив артель, огрызнулся Никон на Трофима Фомича, но запел.

Теперь рванули дружнее; тужась и наступая друг другу на пятки, повезли. Копер, качаясь и поскрипывая, пополз по грязи.

— Пошел, пошел, айда, пошел! — покрикивал Трофим Фомич, краснея от натуги. — Не сдавай, нажимай-ай...

Но через два-три метра копер снова стал; и как ни ловчились старики, как ни ходили вокруг дубовой махины, оглядывая ее и похлопывая ладонями по намокшим станинам, а пришлось покориться и крикнуть на помощь молодежь.

Управившись с бабой, ребята подошли к копру вместе с дедом Демидычем; и вскоре там, где прополз копер, зачернели две глубокие борозды. Продеть канат в проем стального блока и подвесить к нему чугунную бабу было не так уж трудно, и Демидыч объявил передышку.

Колхозники расселись на бревнах.

От привычки работать в любую погоду дождя почти никто не замечал. Только сизоватая поверхность пруда точно рябью вздрагивала от ветерка и представлялась слегка конопатой, да стекла очков Демидыча, будто потрескавшиеся на мелкие кусочки, напоминали, что дождь не перестал. Старик снял очки, обнажив свои орлиные глаза, потер стекла подолом рубахи и, снова надев очки, деловито разгладил бороду.

— Начнем, пожалуй, со стояков, — заговорил он, оглядев артельщиков вопрошающим взглядом. — Пазить новые не станем, вколотим их пасынками к старым, сто годов выдюжат. Как, мужики?

Старики согласно промолчали.

— Этак, значит, — уже решительнее продолжал Деми-дыч. — Завостривать бревна ставлю Никона с Лаврухой, они лиственницу знают и с топорами мастаки. К копру на канат пойдет молодяжник и ты, Лизавета, ты, Дуняха, и вы троицей...

Он пальцем указал на трех колхозниц.

— Оставшиеся девки-бабы на лошадях глину возить, плотину подсыпать. Возвысим мы ее, матушку, на полметра!

— Ого! — удивился кто-то из подростков.

— Не ого, а так ноне водится! — сердито оборвал парня Демидыч, потом отчеканил фразу за фразой: — Гитлеры сколько наших электричек прихропали?.. Тыщи!.. А мы новые выстроим. Недаром говорится, что советские клбщи фашистских хлеще. С нами, говорю, спорь, да оглядывайся!

— Верно сказал: оглядывайся! — вскочила с бревна Прося-солдатка и словно потыкала колхозников острым взглядом одного за другим. — Я вот оглянулась, а где промежду нами Анфисья Никониха?.. Мы здесь робить собрались, а они с Оксиньей Мошкиной в бане богу молятся. Подруги мои, а не знай бы чего сотворила им за такие дела!

— Врать не стану, а правда! — поднялась рядом с Просей другая колхозница. — Самолично, вот этими вот глазами видела. Врать незачем, а обе светлые рубахи надели да со свечками в баню ушли!

— Значит, «пророковым письмам» того...

— А Никон чего глядит?!..

— Никона надо взгреть!..

— Никон!..

Запевала сжался среди стариков на заднем бревне и, казалось, боялся поднять глаза.

— Никон, — позвал Демидыч.

— Ну!..

— Не ну, чудака-человек, а взял бы задрал ей станопину да хорошенько намозолил сахарницу, чтобы оглядывалась... Молиться молись, а прогулы не допускай. И еще

Оксиною совратила!.. Вот возьму да пошлю к ним в баню-то хожалых баб, не стыдно будет?..

Колхозники закричали кто что умел, однако предложения склонялись к одному: послать к богомолкам Лизавету и Просю усовестить, отобрать «святые» письма и привести в бригаду с покаянием. Исподлобья и сбоку наблюдая за Минодорой, Лизавета видела как, борясь с одолевающей ее ухмылкой, кладовщица морщила губы, то отводила в сторону, то опускала глаза, ерзала на бревне от соседки к соседке, потом вдруг побледнела и выкрикнула:

— Исключать таких из колхоза наовсе!

«Ишь, чего захотела, — зло подумала Лизавета. — Мы исключи, а она подберет». Но Минодоре тут же ответил Демидыч:

— Не резон мелешь, Прохоровна!.. Клин-то клином вышибается; они их — письмами, а мы — словесами, да попонятливее, покруче, чтобы под кожу лезли... С нами, говорю, спорь, да того... Ступайте, бабы, ведите их сюда!

Лизавета и Прося ушли, а на плотине, под неумным дождем, в месиве раскисшей глины и хлюпающих лужиц, закипела работа строителей. Минодора впервые, пожалуй, за все эти годы почувствовала откровенную неприязнь колхозников — на ее заговаривания люди отвечали сквозь зубы, кое-кто косился, многие ухмылялись. Кладовщице не могли простить ее злобного выкрика об исключении из колхоза двух богомолков, но она по-своему истолковала поведение людей. «Подозревают, подлые, или многое знают, — думала она, через силу бросая лопатой глину на телегу. — Скорее, скорее заткнуть глотку этой паршивице Капке; удерет — греха не оберешься. Да скорее бы Конона черти несли, опротивел мне этот треклятый Узар; в город, в город, в город!.. А тут еще Агафангел... Заставят признаться, выпытают, сознается во всем, подлая душа, — и конец!.. Что делать?.. Прежде всего долой отсюда Гурьку с Калистратом — в лес, в лес!.. С бабами останусь, огород полоть надо.... А мужики в лесу хоть сена скоту накосят, стожок поставят. И Неонилку с ними, прочь отсюда заступницу-дармоедку, прочь!.. Калистрата в лес... а кто Капку задушит?!.. Нет, нет! Скорей домой!.. Домой, домой, там разберусь!» И позабыв даже о том, что Лизавета и Прося должны вот-вот привести сюда богомолков, крайне ее интересовавших, Минодора заявила брига-

диру о надобности отпустить продукты детскому садику и тотчас ушла в деревню.

Коровин встретил дочь жалобами на Платониду.

— Прижми ты хвост пучеглазой жабе! — как никогда решительно заговорил он, едва Минодора осведомилась про домашние дела. — Сегодня вконец извела брата Гурия!

Прохор Петрович рассказал, как «с утра занемогший брат Гурий возжелал сочинить новое святое письмо к заблудшим и страждущим», как позвал к себе его, Прохора Петровича, с бумагой и карандашом и как Платонида сорвала всю их работу. Проповедница без молитвы ворвалась в келью Гурия и, евангельскими речениями отчитав его за непосещение утренних и вечерних молений, пригрозила отлучением от общины и изгнанием из узарской общины.

Прохор Петрович стал было рассказывать о новом «святом» письме, продиктованном Гурием, но Минодора перебила.

— Уж не думает ли он сейчас подбрасывать свои письма? — хмуро спросила она, швыряя к ногам отца один за другим свои грязные боты. — Еще раз хочет подвести под монастырь?

— Нет-с!.. Мыслит отправить с сестрами, буди они благословятся во странствие. Триста листов заказал мне славянским вязевом. К осени сделаю-с... Хе-хе, за каждой, слышь, сестрой распушится хвост из писем пророка Иеремии, хе-хе, шутит-с.

— Вот я с ним сама пошучу!..

Приказав собирать ужин, Минодора ушла в обитель.

В молельне совершалась вечерняя зорница. Сквозь закрытую дверь оттуда доносились жиденькие голоса женщин и сбивчивое — то тенором, то басом — подвывание Калистрата. Минодора брезгливо сморщила губы — она никогда не бывала на молениях, если не служил сам пресвитер, — и, предупредительно постучав, но не помолитовавшись, вошла в келью Гурия.

Тяжело дыша, Гурий лежал вытянувшись на топчане, и скошенные на Минодору петушины глаза его при свете лампы показались ей остекленевшими.

— Ну, как живешь-можешь, непутевый? — начала она нарочито строго, хотя в сердце ее шевельнулось чувство сострадания к больному.

— Проклятый лешак! — проскрипел он будто насквозь проржавевшим за день голосом. — Ровно кворостиной зудит на горло, голова бурем-буря, кругом кодуном кодит, лешак!

— Зудит, говоришь?.. Таковский был... Меня не послушался, черной кошкой обозвал, в преисподнюю спровадил, сукин ты сын, подлец!.. Носит тебя нечистая сила везде, как проклятого, вот и достукался, простыл!

— Речки бродился выше пупком, ангина поймал, — покорно признался Гурий и заискивающе попросил: — Молоко давай гретый, слушайте, да с содом, а?

— Мо-ло-ко-о?!.. Ишь ты молочник нашелся!.. Робить тебя нету, гулена гуленой, а жрать ты тут как тут?.. У черной кошки попроси!

— О, лешак, я заплатить стану... Бери, слушайте, мой последний тысячу.

— Это иной разговор... Я сирота, манна небесная мне не сыплется, а ты не робишь, только хлеб жрешь. Но дело теперь не в одной плате за харч... Один наш дурак попался сегодня в мирской капкан; боюсь я, как бы он не выдал всех, да как бы и тебя здесь не зацапали. Ты давай-ка выметайся отсюда подобиру-поздорову... В лес покудов... С Калистратом да с Неонилкой... Жить.

— Лесом жить? — переспросил Гурий и даже приподнялся, но тут же повалился на постель и с яростью выдохнул: — Не пойду!

Минодору передернуло.

— Не пойдешь? — прошипела она, и на губах ее появилась ухмылка, которую не переносил даже старик Коровин. — Сам не пойдешь, Калистрат в мешке снесет!

Слыхавший об этих мешках, Гурий застонал:

— Подлая ведьма!

— Мешок крапивный, не надрягаешься, — продолжала странноприимица, не поняв, однако, кем ее обозвали. — Спеленаем, как лягушу, да к лягушам и спустим. Лучше уж подумай насчет леса: там потеплее, чем в болоте!..

Она приглушенно захихикала и поднялась.

— Стой! — с силой прошептал Гурий. — Слушайте, лешак побери... Открываюсь тайном... Я ужасный нужен Конону, он придет сюда жо самый полночь...

Гурий назвал день явки Конона — и Минодора села.

Каждый скрытник верил, что для последнего суда над грешниками Христос спустится на землю без предупреж-

дения. Представитель Христа — пресвитер общины — должен был являться своей пастве также неожиданно. Этот неписанный, но непреложный закон общины бил прежде всего по странноприимцам — чем неожиданнее владыка нагрянет в обитель, тем больше найдет в ней беспорядков и тем крупнее сорвет дань искупления с хозяина. Минодора давно испытала силу этого закона на собственном опыте и хоть не особенно трусила Конона, однако всегда старалась принять меры предосторожности. С этой целью она и прежде пыталась охаживать Гурия, но он прикрывался верностью общинным канонам и тайны не выдавал. Только теперь, припертый к стене неприятными обстоятельствами, он неожиданно открылся.

Срок явки пресвитера в Узар оказывался настолько близким, что странноприимица смешалась: верить ли Гурию? И если верить, то как поступить и с ним и с обителью?... Она прекрасно понимала, что Гурий открыл ей тайну не для того, чтобы отблагодарить хозяйку за хлеб-соль, но только для того, чтобы спасти свою шкуру. Это еще сильнее возмутило ее, и она выпалила первое, что набрело в голову:

— Ладно, дрыхни, покуда я подумаю...

Обдав Гурия уничтожающим взглядом, Минодора встала и вышла из кельи. Но, очутившись в коридоре, странноприимица прикинула глазом к щелочке в двери. Ей показалось, будто Гурий, полежав неподвижно, вдруг всхлипнул, потер глаза кулаками и не то зарыдал, не то насмеялся. Затем она видела, как он перевернулся на живот, ткнулся лицом в подушку и как его несуразное тело, точно в агонии, задергалось на топчане. «Ни черта не поймешь сатану, — выругалась она и ушла от кельи. — Разбери пойдя: плачет или смеется». В келье же происходило и то и другое. Гурий плакал от досады, что он, столбовой дворянин, вдруг оказался во власти злой деревенской бабы, и смеялся, что ему удалось купить ее ценою глупой тайны. Потом он вспомнил разговор об изловленном Агафангеле и возможном обыске в обители, нащупал под матрацем пистолет и дал себе слово уйти отсюда, как только появится Конон.

Минодора же не медлила и приказала отцу тотчас после ужина отправиться на разведку к колхозному амбару.

Над притихшим Узаром сгущались, будто наплывая из лесу, вечерние сумерки. Сквозь сплошную, но теперь

легкую и жиденькую, как серый ватин, пленку облаков просачивался белесый свет потучневшей луны. Отсыревшие за день постройки выглядели серыми и мутно-блестящими, словно покрытые фольгой. На берегу за околицей уныло потренькивала балалайка, а два девичьих голоса слаженно и грустно пели о том, как на позицию девушка провожала бойца. Со стороны колхозного правления слышался ленивый собачий лай, потом там заговорили мужчины. Ожидавшая возвращения мужа, Лизавета вскочила с крылечка и выбежала за ворота.

Но голоса оказались чужими.

Женщина прислонилась к столбу и задумалась.

Когда муж сутками не возвращался из отдаленных хуторских бригад, хлопоча то о весеннем севе, то о сенокосе, то о взмете пара, она заботилась лишь, сыт ли он, спал ли, перевязал ли руку, — чистый бинт всегда лежал в его полевой сумке, — и совсем не думала о том, вернется ли он к обещанному времени. Сегодня было не так; сегодня она ждала, ждала с дрожью в душе, несчетный раз вышла за ворота, прислушиваясь к каждому стуку колес на тракту, к каждому звуку в деревне, и все зорче вглядывалась в густеющую темноту. Нет, Лизавета не боялась за мужа; она не сморгнула глазом на давешнее замечание Трофима Фомича, беспокоившегося «как бы чего не вышло в дороге с этим медведем-скрытником»; она верила в Николая — ведь не всякий приносит с фронта домой по четыре боевых ордена. Молодая женщина не заботилась даже о том, привезет ли Николай милицию, — это разумелось само собой, как ночь, как день. И Калистрат, и Минодора проходили теперь где-то стороной от раздумий Лизаветы, касались их краешком, задевали ее сознание как нечто второстепенное, от которого хотелось отвернуться, отплюнуться. В глубине же души, в самом светлом тайничке сердца Лизаветы нежданно-негаданно поселилось и зрело совершенно иное, сладостно-тревожное, чистое и большое чувство.

Часа два-три тому назад, беседуя с богомолками прогульщицами Анфисой Никонихой и Аксиной, молодая женщина рассказала им о поползновениях кривобокой проповедницы и вдруг вспомнила о беременной страннице, подвезенной Трофимом Фомичом в узарском лесу. Вспомнила и призадумалась: где эта скрытница теперь; если в доме Минодоры, то как живет ей с младенцем; нельзя

ли увидеть эту женщину и не попытаться ли освободить ее из сектантского плена?..

Обе прогульщицы отмолчались и в бригаду не пошли, но Лизавету поведение богомолков не встревожило; ее захватила мысль о страннице. «Эх, какой бы я ее подружкой сделала, — думала она, — как бы славно, как вольготно забегал ее ребяенок по нашей избе!.. А молока-то, молока-то ему — хоть купайся!.. Да я бы... Да мы бы с Колей... А папаша, о-о!»

Мечтательно улыбаясь, Лизавета вернулась во двор, замкнула сенную дверь, спрятала ключ для Николая в условленное место, снова вышла на улицу и направилась к колхозному амбару.

От амбара доносились негромкие голоса. «Не Николай ли на мое счастье, — мелькнуло в голове Лизаветы, но, приблизившись, она разглядела бородку и бобрин Прохора Коровина. — Ага, разведчик, — весело подумала молодая женщина. — Иначе зачем бы старику переть ночью по такой грязи со своей горы?» Она поздоровалась с Коровиным за руку и села рядом со свекром на ступеньку амбарного крыльца под навесиком.

— ...взял да и подпалил деревню сразу с трех сторон, — продолжая беседу, говорил Трофим Фомич. — Вот-де вам в отместку, что моего спутника изловили!..

— Да, дезертиры народ отчаянный, — вздохнув, молвил Коровин.

— Ну этот не похож на отчаянного, — вмешалась Лизавета и, минутку подумав, что бы такое сочинить для успокоения старика Коровина и его дочери, продолжала: — Тютя тютей!.. Только поулыбывается... Кустов говорит, что он сынок попа из Новоселья; до войны, слышь, в сельсовете делопутом работал и немножко умом тронутый... Такого и отпустить могут!.. Жалко даже, что поколотили его ребята, когда ловили.

— Ну без этого нельзя! — возразил Трофим Фомич. — Раз ловят дезертира ли, беглого ли, непременно поколотят, а то и за милу душу убьют!

— Таких бить можно! — сказал Коровин; в свое время он любил ловить подозрительных, а однажды с помощью стражников задержав политическую каторжанку, щекотал ее до тех пор, что сам едва не лишился рассудка. — Лавливали мы таких, секли-с!..

Это слово он произнес так, как будто обсосал конфетку.

Лизавету покорило, однако она погромче рассмеялась, потом как могла душевно спросила:

— Минодора Прохоровна, наверное, спит?.. Вот я и говорю, что устала. Замучил их Демидыч, троих коробья глиной нагребать заставил, даже жалко баб. Завтра мы с Аксиньей Русиной пойдем помогать им, полегче будет.

— Спасибо, Лизавета. Егоровна, Дорушка возблагодарит-с!

— Ну-у, было бы за что; все мы не чужие в колхозе-то.

— Золотые слова, — поддержал Трофим Фомич.

— Папаша, я к тебе, знаешь, зачем?.. Сейчас в правлении была. Рогов там и Спиридон с Фролом. Вокруг деревни тайные караулы выставляют. Может, слышь, у того дезертира дружки есть, — так кабы в отместку, что на нашей лошади увезли, деревню не сожгли...

Говоря, Лизавета видела, как заерзал Коровин.

— Шел бы ты тогда домой, — продолжала она тем же спокойным тоном, трогая свекра за рукав, — да отдохнул бы, а я посижу здесь; раз караулы — не боязно.

— Пожалуй, верно, мила душа, — согласился Трофим Фомич, еще не зная, ловчит или правду говорит сноха. — Бери ин фузею...

— Пойду и я, — поднялся Коровин и аккуратно отряхнул штаны. — Пора костям на место. До свиданья!

Он вышел из-под навесика, но, будто обходя грязный участок дороги, прокрался к правлению колхоза и, приподнявшись на носках, заглянул в освещенное окно.

— Ну, слава богу, сейчас поверит и в караулы, — смеясь, прошептала Лизавета свекру. — Все трое в правлении, только не про караулы говорят... Теперь Минодора своего милого и в нужник не выпустит!

Трофим Фомич прыснул со смеху и рассыпал табак из свертываемой цигарки себе на штаны; собирая его, сказал:

— Ладно бы, если она покараулит его до Кольши; так думаю, что Кольша без милиции не приедет, а, Лизанька?

— Для того и солгано, чтобы сама караулила... Ты ничего не слыхал про скрытницу, которую вез?.. Коровин не проболтался?

— Подъезжал я и лесом и пахотой, увиливает. А у них они обе две, хоть огнем пытай — не отрекуся, что обе у них!

— Я хочу попробовать увидеть ее, младенец ведь с нею теперь, — проговорила Лизавета, запинаясь, и вдруг выпалила нечаянно самое сокровенное: — Сама не пойдет, так, может, ребеночка отдаст... Куда ей с ним в странствии-то, а мы бы с Колей...

— Вот за это умница так умница, а воспитать — мы за милую душу!

— Попробовать?..

— Только того... Волки ведь!..

Берегом реки, поросшим кустарником, Лизавета дошла до усадебной изгороди Коровиных и остановилась в раздумье. За мглисто-черной площадью огорода, засаженного картофелем, будто скалы, серебримые луной, высились богатые хоромы. Над усадьбой витала, казалось, какая-то особая же таинственно-гнетущая тишина... Поборов робость, Лизавета перелезла через прясло и узенькой тропкою направилась к строениям. С каждым шагом она все сильнее чувствовала гнет отчужденности, он сжимал ее душу тоже каким-то особенным, еще неизведанным страхом, точно женщина вдруг очутилась среди ущелий, в дебрях которых таились невиданные чудовища. Даже воздух здесь был несомненно иным, чем внизу на деревенской улице, — от строений веяло чуть ли не тем же запахом, каким припахивало «святое» письмо.

— Поганцы, — прошептала Лизавета, чтобы хоть звуком своего шепота отогнать жуть; ей захотелось вернуться на берег, но желание увидеть странницу с младенцем оказалось сильнее страха.

Не помышляя проникнуть во двор, она осторожно пошла возле стен хозяйственных построек, выходящих задами в огород. Боязнь отступила, когда молодая женщина услышала по-домашнему знакомое пыхтение и жвачку коровы; исчезла и оторопь, как только вблизи послышалось полусонное бормотание кур. Уже спокойно достигнув середины садика, Лизавета остановилась; откуда-то справа и снизу доносился как будто приглушенный стон. «Не она ли?» — подумала Лизавета и оглянулась. В двух шагах чуть брезжилось полуоткрытое оконце. Молодая женщина бесшумно обогнула ствол искривленной черемушки, отстранила духовитую поросль полыни и заглянула.

В узенькой приземистой клетушке, на застланном дерюгой топчане, прямо и неподвижно сидел мужчина. До пояса голый, он лишь на шее имел толстую белую повязку,

отчего голова человека представлялась напрочь отделенной от туловища. Устремленные в угол на луч какого-то светильника красно-коричневые глаза его выражали не то внутреннюю боль, не то страшную неукротимую злобу. Человек что-то шептал невнятно и быстро, отчего оранжевый клочок его бороды вздрагивал и трясся, а скрещенные на груди руки то вздымались, то западали. Наконец он истово перекрестился, и Лизавета снова услышала стон.

— Вот он, Калистрат! — чуть не вскрикнув, прошептала она.

Насилу сдерживая себя, чтобы не пуститься бегом, не зашуметь и не наделать переполоху, Лизавета выкралась из садика в огород, оттуда на берег речки и, обессиленная, свалилась на траву. Внешность скрытника потрясла молодую женщину: именно таким представляла Лизавета самых отъявленных душегубов. «Недаром Арсен сказал, что им пугали Федорку», — думала она. А где-то, за этим чудовищем, ей вдруг представилось светлое личико младенца и скорбный образ его матери-странницы. Но что сделать: бежать ли тотчас к Андрею Рогову, чтобы схватить человека с петушиными глазами и — пусть насильно — увести к себе домой странницу с ребенком, или подождать, когда Николай привезет милицию? В смятении она рванула клоч травы, по привычке поднесла было его к лицу, но с омерзением отшвырнула прочь, вскочила и быстро зашагала берегом реки к своему огороду.

— Боже мой, какой страхилат! — шептала молодая женщина, прижимая ладонь ко все еще прыгающему сердцу. — Какой крокодилище, да еще в ямине!.. Вот куда надо сводить наших богомолков, вот кого показать... «Одежды светлы, лики пречисты», тьфу, паршивые поганцы!.. А эта баба? Странница с ребенком — неужели в этом же подвале, рядом с этим сатаной? Живой не буду, если не выволоку ее из этой ямы... Ее и ребенка, ее и ребенка... Клянусь, живой не буду!.. Наше это дело, мое дело, да, мое, мое!

Сгоряча Лизавета выкрикнула два последних слова и громко стукнула калиткой огорода. Как будто от этого стука тотчас распахнулась калитка на улицу, и во дворе показался Арсен.

— Ты чего здесь обретаешься? — почему-то оробев перед внезапно появившимся парнем, грубо спросила Лизавета.

— Николая Трофимыча жду, — весело откликнулся тот, не заметив сердитого тона хозяйки. — Новостей, новостей!..

— А ведь я Калистрата видела! — словно извиняясь за свою первоначальную грубость, мягко и чуть-чуть хвастливо выпалила она.

— Но-о-о!.. Расскажите, расскажите!

Она рассказала, и Арсен помотал головой.

— Нет, Лизавета Егоровна, это не он. Тот жердило с черной бородой; это, выходит, другой крокодил, а вот у меня форменная везучка!.. Старуха в сером платке оказалась? Оказалась: выползла, цветочки в садике обнюхала, черемуху ладошкой погладила и назад вползла. Потом бабочка с черными бровями выползла, воды из колодца набрала и тоже обратно вползла... Почему ползают?.. А у вас, Лизавета Егоровна, в дом через курятник входят?.. Нет?.. А вот на ихнем свете — да, вползают и выползают через курятник!.. Потом, знаете, Лизавета Егоровна, где у них нужник?.. Нет?.. В бузине за баней, и его уже на закате посетила такая самая старушечка с клюшкой.

— Маленькая, кривобокая?..

— Ну, так я так и отметил: собачья отрава, которая на хуторе у Офроси гостила!.. А сейчас низко кланяюсь и лечу на вашего крокодила поглядеть... Поздно?.. Где же поздно, когда полночь не пропета?! До зорьки еще уй-ю-юй, как до Африки!

Он бегом умчался к берегу реки.

VIII. ОБРЕЧЕННАЯ НА СМЕРТЬ

Постоянная в своих решениях, Минодора запретила дневные работы на дворе; туда выходили только Платонида и Варёнка, которой приходилось теперь вносить и выносить зловонное ведро, которое, как в тюрьме, называли парашей. Обитатели подвала после утреннего моления и завтрака тотчас принимались за урочную работу по кельим. После обеда они отдыхали до вечернего моления, а отстояв его, отправлялись на ночные работы по двору и огороду. Капитолине же были запрещены и ночные работы, ее совсем не выпускали из подвала, но это не удивляло девушку: после расправы над нею заточение казалось ей вполне естественным.

Она поражалась некоторым изменениям, происходящим в обители. На другой же день после избияния ее оторвали от стежки одеяла и перевели в келью Калистрата на вязку сетей. Никогда прежде не спускавшаяся в подвал, Минодора дважды в день приходила в келью Гурия, а сам Гурий вообще не показывался, и даже парашу Варёнка носила ему в жильё. Всегда избегавшая Платониды и как будто возненавидевшая ее Агапита изменила свое отношение к проповеднице. Девушка думала, что Минодора, обидевшись на Калистрата за его заступничество, отказалась от дезертира и теперь увлекает Гурия, — поэтому-то и она, Капитолина, допущена в келью Калистрата; а вот поведение Агапиты она объяснить никак не могла. «Платонида убила ее ребенка, а она за убийцей на задних лапках ходит, — возмущалась Капитолина. — Глядеть страшно!.. Встретит в коридоре — кланяется чуть не до полу, либо глазки потупит, как виноватая. На зорнях встает рядышком, свои поклоны к ее поклонам принаравливает, свечка у нее погаснет — свечку зажжет. Вчера за утренней два раза зажигала. А на вечерней два же раза лестовку ее поднимала. Выпадет лестовка, Агапита подымет и ласковенько с поклончиком Платониде: получите! Двоюличный народ, факт налицо! А сегодня, сегодня... после зорнего тропаря — ну, не смешно ли? — взяла и подняла эту жабу с коленок под оба локотка... Конечно, если разобратся, жалко ей ребеночка, вот она и ухорашивается, и лебезит, чтобы узнать, кому его подкинули. А мне не поверила, думает, что я натрепалась. Ненормальная дура!.. Ну да плевать мне на вас! Вот еще немножко коросты с морды сойдут — и только вы меня и видели!»

Думая обо всем этом, она взглядывала на Калистрата. Окно в его келье, прикрытое снаружи бурьяном сада, было намного шире, чем оконце в келье Капитолины. Жилье это досталось Калистрату по распоряжению самой Минодоры — чтобы в случае опасности дезертир мог легко скрыться. Летом окно почти не закрывалось, через него проветривали всю обитель. Теперь через окно в келью врывались острый, пощипывающий в носу, запах набухающей семенами полыни и сыроватый холодок земли, приятно освежающий израненное лицо Капитолины. Лучи полуденного солнца пробивались сюда сквозь покачивающиеся ветви черемух, а тени их будто царапали и без того обезображенные оспой щеки Калистрата.

Калистрат, точно нарочно, чтобы не выпустить Капитолину из кельи, с утра уселся к двери. Сегодня он выглядел угрюмее обычного и пока что не проронил ни слова. Было слышно лишь, как постукивала об его окостеневшие ногти вязальная игла да шуршала сеть, цепляясь за просаленные заплаты на штанах. Петля за петлей, ячея за ячеей его конец сети приметно удлинялся, тогда как вязево Капитолины почти не прибывало, да и немудрено: девушка впервые видела, как вяжут сети, а Калистрат вязал в келье уже двенадцатую сеть. Ей хотелось перенять его умение — в жизни может пригодиться всякое мастерство, — но после того, что случилось позавчера и вчера, она не отваживалась на расспросы.

Позавчера, объясняя Капитолине размеры ячеек, Калистрат невзначай коснулся ее руки. Первый раз он, словно обжегшись, отдернул свою руку, отвернулся и понурился. Капитолина видела, как его длинная шея покрылась багровыми пятнами и как лихорадочно запрыгала в его руках вязальная игла, взблескивая своим отточенным хоботком. «Видно, на мою напоролся, чертушка», — взглянув на свою иглу, подумала она и, жалеючи, посоветовала:

— А ты поосторожней лапай; это тебе не восковая свечечка в моленной... Больно?

Он хмуро покосился на нее и не ответил.

Второй раз она упросила его показать, как крепится деля. Он стал свертывать узелок, но зацепился пальцами за ее пальцы. Капитолина не могла точно припомнить, как это случилось, все произошло мгновенно; она не успела отстраниться, и Калистрат схватил ее руку, на какой-то миг прижался к ней щекой, вскочил и выбежал из кельи. Взволнованная происшедшим, Капитолина было задумалась — не далеко ли она зашла, поддразнивая Калистрата своим расположением, но вскоре дежурная сестра-трапезница Неонила принесла обеденную горошницу, и девушка на время забыла о своей тревоге.

Вчера около обеда Капитолине понадобилось выйти. Она понадеялась, что проскользнет мимо Калистрата, если поплотнее прижмется к противоположной стенке. Калистрат заметил ее намерение, хотел посторониться, но сделал это слишком поспешно и неуклюже — и колени их столкнулись. Он вскочил, вытянул к ней руки, но не дотронулся, а лишь прошептал:

— Ка-апа...

Девушка стремглав выбежала из кельи и долго не могла набраться храбрости вернуться туда. Вздрагивая от каждого звука, она сидела в своей келье и, прижав пальцы рук к губам, шептала: «Какой он страшный, какой он страшный». Однако физическое отвращение к внешности Калистрата тут же затенялось чем-то вроде жалости к нему. Мало ли на свете некрасивых, но добрых людей, и наоборот, красивых и зловредных? Не ее ли мать частенько говаривала: «Красивых хватит, хороших дай». Да и что плохого сделал ей Калистрат? Чуть-чуть прижался щекой к ее руке? Ну и что же — не укусил ведь. Или что пролепетал как ребенок «Ка-апа»? Но ведь не схватил, не обнял, не притиснул? Значит, нечего и бояться его. Совсем бы человеком стал, если бы убежал из этого подвала да явился в военкомат, выпросился на фронт, в самое пекло, да орден бы на грудь, — вот бы и покрасивел. А то и лицом урод, и дезертир, и в секте — такого даже и жалеть противно. «Дай-ка я с ним поговорю начистоту», — решила девушка и, еще не зная, о чем и как станет говорить с Калистратом, поднялась и вышла.

В коридоре на маленьком угловом столике дежурящая сегодня Агапита разливала по чашкам ячменную кашу. Капитолина подошла и, усмехаясь, заглянула в чашки. Улыбнулась и Агапита, но так странно, словно кто-то невидимый взял и насильно растянул ее губы уголками в стороны.

— Это Платониде? — спросила Капитолина, показав на чашку, налитую много полнее других.

Агапита кивнула.

— Масла побольше влей, — не скрывая ехидства, проговорила девушка и, взяв свою порцию, вернулась в келью.

Агапита посмотрела ей вслед, укоризненно покачала головой, вздохнула, но конопляного масла в чашку проповедницы все же положила больше, чем в другие. Отрезав толстый ломоть хлеба, она смиренно помолитвовалась у дверей жилья Платониды.

После обеда Капитолина не видела Калистрата.

На другой день, снова сидя с ним за той же сетью и едва дыша от полынного запаха, девушка прикидывала: с чего бы начать задуманный вчера разговор? Если заговорить прямо о его дезертирстве, то не напугаешь ли мужика, как тогда на копке ямы в погребу? Если начать с Миnodоры, то не обидишь ли: вдруг он действительно любит

се? Начинать беседу с секты девушка тоже боялась: а что если он верующий?.. Ей уже хорошо известны фанатики вроде Платониды или Неонилы: моментально наживешь себе врага, тогда как в Калистрате хотелось приобрести друга. Но всегдашнее нетерпение подгоняло ее, и наконец она спросила, начав издалека:

— Калистрат, тебе охота креститься?

— Мы крещеные, — сквозь зубы ответил он.

Капитолина не обиделась.

— А об чем ты тогда думаешь? — продолжала она.

— Об чем нам думать?.. Так, про мужицкое.

— Ну все ж таки?

— Про деревенское, — глухо вымолвил он и зябко передернулся плечами. — Про коней, примерно. Вот, мол, взять бы теперь накосить травы. На телегу траву-то скласть. Полезти самому да и лечь на нее. И на траве лежи до самого до конного. А на конном Игренько с Лысухой сурепку любят, так им бы сурепки...

Голос его стал скрипучим, а лохматая голова будто сама собой посунулась к коленям. Громко сопя и путая нитки, он некоторое время молчал, потом сжал длинными пальцами лоб, из-под руки глянул на девушку и пояснил:

— Кони, Лысуха-то с Игреньком.

Разговор прервался.

— Калистрат, а ты стрелять умеешь? — наконец спросила она, надеясь все-таки добраться до войны.

Он беззвучно засмеялся, потом сказал:

— Один раз было по пьяному делу. На братановой свадьбе для уваги свах пальнул.

— Из нагана?!..

— Из кремлевого ружья.

Капитолина не расхохоталась, как обычно, когда он перевирает слова, а лишь покачала головой.

— Уйти бы тебе отсюдов, Калистрат Мосеич, — проговорила она и сама удивилась своему серьезному тону. — В военкомат бы заявиться да на фронт бы поехать... Теперь без ордена тебе не жить, факт налицо!

Мужик тяжело вздохнул.

— Боишься, что расстреливать начнут? — продолжала девушка, придвигаясь к Калистрату и переходя на полусшепот. — Это тебя Минодора запужала, а я не верю. Ну какая им корысть расстреливать, если на фронте ты, мо-

жет, сотню фашистов убьешь?.. На фронт зашлют, в котел, орден заслуживать. Наш фэзэошный военрук за котел получил... Конечно, одному страшиновато в военкомат являться. Мне тоже страшно в милицию — хоть как верти, а факт налицо. Вот если бы вдвоем явиться, сперва бы оба в милицию за меня, потом в военкомат за тебя, только бы вместе... Помнишь, я решалась воровать, чтобы в тюрьму за паспортом? А одна женщина растолковала мне: ни фига, слышь, не выйдет, лучше явись и оправдывай, повинную голову не рубят. И я решаюсь на фронт. Думаешь, треплюсь?.. Вечно не трепалась!

— Вон оно ка-а-ак?!

— Точно. Перевязывать умею, научили в фэзэо, и стрелять знаю, тоже в фэзэо показывали, факт налицо!

— Ай-ай-ай! — живо проговорил Калистрат, не сводя заблестевших глаз с девушки.

— Думаешь, девчата не воюют? А партизанка Зоя, а Лиза Чайкина?.. Тысчи!.. Сама читала и в кино видела. Вот бы и нам с тобой вместе, в одну бы роту: мол, друзья по каторге Капитолина Устюгова и Калистрат Мосеев...

— Ермолины наша фамиль, — поправил Калистрат задумчивым тоном. — Мосей-то у нас отец был... Говорите, Капочка, слушаем. Нам это завлекательно, про фронт-от.

Он было отложил иглу и заикнулся сказать что-то еще, но в коридоре раздался всполошный крик Варёнки:

— Куд-кудах, Капка!.. Сичас жо к хозяйке, медведь полосатый, а то...

Обычную свою угрозу дурочка прокричала уже с лестницы за дверью, и Капитолина ее не расслышала.

— Станет забижать, так шуми, — строго проговорил Калистрат, видя, что девушка медлит уходить.

Но Капитолина медлила не из боязни. Твердо решив уйти из обители, как только подживет израненное стекляшками лицо, она не испытывала ни малейшего страха перед Минодорой. Всем своим существом ненавидя странно-примицу, девушка страстно хотела отомстить ей за все издевательства над собой. Сейчас, не предвидя ничего хорошего в вызове Минодоры, она решила отбиваться и в случае повторного нападения нанести врагам ответные удары. С минуту Капитолина сидела и, глядя то на стальную вязальную иглу, то на острожальные ножницы, соображала, что из них взять с собой для защиты или отпора?

Выбрав ножницы, девушка поднялась и вышла.

В большой Минодориной комнате разговаривали странноприимица с проповедницей. Пришедшая на обеденный перерыв кладовщица поминутно взглядывала на ходики и говорила не зло, но рывками, будто командовала. Платонида же была не в духе. Ее разгневало и унизило предложение странноприимицы наблюсти за больным Гурием.

— Господь ведает, кого наказует! — гордо процедила проповедница, пристукнув костылем. — Хамское семя, поделом вору и мука. Провидела я, что добром его якшание с миром не кончится!.. Зело лют спортствовать, токмо не во имя Христово!.. Не проси, мать, не пойду, заставляю Агапиту воды плеснуть псу смердящу.

— Ладно, согласна. Только не надо бы споров да разговоров меж нами перед приходом пресвитера. С Агапиткой как?

На лице Платониды мелькнуло подобие улыбки.

— Давно зрю: каждодневно крепнет в вере сестра Агапита, — твердо проговорила она, устремив вспыхнувший взгляд на небогатую в этой комнате божницу. — Раболепна зело, смиренна...

— Ты не размазывай, прямо говори: надежна?

— ... к послушанию и молитве прилежна.

— Варёнка!..

— Частухи?! — вскочив и ощерясь в улыбке, спросила дурочка, дремавшая на сундуке.

— Иди к чертям с частушками, фефела; ушьми слушай чего прикажут... Зови Агапитку!

Разочарованная, что на этот раз не удалось заработать желанного кусочка сахара, Варёнка, почесываясь, убежала в обитель за Агапитой, но, что с нею нередко бывало, влопыхах перепутала имена и вызвала Капитолину.

Девушка вошла и, помня, что здесь на нее нападали свади, остановилась у самой двери.

Однако, к ее удивлению, странноприимица повела себя совсем по-иному, чем когда бы то ни было прежде: она не влепила дурочке обычной в таких случаях затрещины, не обругала ее отборными словами, но благодушно оскалилась и даже пошутила:

— Приволокла одра заместо бобра... Агапитку зови, дурында.

Захихикав и ударяя себя ладонями по бедрам, что она делала в подражание обожаемым ею курам, Варёнка умчалась снова.

Капитолина уже надеялась, что необычайно веселая сегодня Минодора тотчас прикажет ей выйти вон, но этого не случилось. «Сейчас начнет, — чувствуя, как затрепетало сердце, подумала девушка. — Вскочит или не вскочит, завизжит или не завизжит? Если приблизится и замахнется, я всажу ей ножницы вон в то место». Всматриваясь в светлую полоску между лбом и кольцом бронзовых кос Минодоры, девушка нащупала в рукаве острия ножниц. Но Минодора не вскочила, не взвизгнула и не подбежала. Оглядев Капитолину, она самодовольно откинулась на спинку стула и, видимо позабыв, что спешит на плотину, заговорила медленно, точно напоказ процеживая слова сквозь белые острые зубы.

— Ну что, царевна-королевна, очухалась?.. Ишь те харю-то как разукрасило, фонарь к фонарю, хоть картину рисуй. Невеста у Калистрата Мосеича ни в сказке сказать, ни пером описать! Не желаешь ли вон в зеркальце поглядеться?

Она сощурилась, выдав крупные морщины на лице, и захохотала. Смех ее был настолько поддельным и неприятным, что девушка побледнела, но в разговор вмешалась Платонида. Смекнув, что происходит с Капитолиной, хитрая старуха сердито стукнула посохом:

— Ступай в обитель, раба. Не ты потребна матери-странноприимице!

Польщенная высокопарным величанием старой проповедницы, Минодора повелительно махнула девушке рукой.

Столкнувшись в дверях с Агапитой и Варёнкой, Капитолина вышла в пустую горницу Коровина и почувствовала, как подкосились ноги: еще мгновение и она, быть может, стала бы жертвой странноприимицы или ее убийцей. Запрокинув голову и пересилив саднящий в горле комок, девушка всей грудью хлебнула воздух. «Раба? — одними губами прошептала она и тут же зло усмехнулась: — Фиг я вам раба!.. Дурой побывала, факт налицо, а уж рабой — извини подвинься! Спасибо, вылечили, до гробу не забыть, а кверху пузом сами плавайте, мне еще жить охота». Она рывком отодвинула медный образок Христа в терновом венце, нажала тайную щеколду в иконостасе, но, ступив на внутреннюю лестничку, остановилась, привлеченная раздавшимся за стеной голосом Минодоры.

— Я звала, — строго проговорила странноприимица. — Вот сестра Платонида тебя нахваливает.

— Благодарствую, матушка, — подобострастно растягивая слова, отозвалась Агапита. — Спасет Христос за хлеб, за соль. А сестрице Платонидушке земно кланяюсь за ласку.

Капитолина от злости прикусила губу; она живо представила себе раболепные поклоны Агапиты перед «благодетельницами», блаженно хмуращиеся глаза Платониды и спесиво пыжающуюся на своем высоком стуле Минодору. Девушка ощутила во рту горечь давешней полыни, ее подмывало крикнуть изменнице Агапите дерзкое, обидное слово, потом хлопнуть иконостасом так, чтобы звон разлетевшихся медниц прокатился по всему дому, и, ни минуты не медля, бежать из этого вертепа на все четыре стороны. Но опять заговорила Минодора, и Капитолина снова прислушалась.

— Старшей послушницей тебя делаю, — теперь торжественно произнесла странноприимица. — Неонилка не послушница, а ослушница, да и хвораая, задарма хлеб жрет... Слышишь?

— Потружусь, матушка, благодарствую.

— Капку тебе доверяю. Гляди в оба за этой змеей, она бежать норовит. Убежит — ты мне за нее своей башкой заплатишь!

— Аминь! — словно утвердив приговор странноприимицы, проговорила Платонида. — Иди, раба.

Агапита открыла дверь в горницу Прохора Петровича, и Капитолина едва успела юркнуть за иконостас в подвал.

Четверть часа назад она еще убеждала себя, что Агапита заслуживает осуждения за свое пресмыкательство перед Платонидой. Теперь презрение к страннице вскипело в душе Капитолины настолько, что девушка морщилась и вздрагивала, точно вдруг обнаружила змею, подложенную кем-то к ней в изголовье. Запершись в своей келье, она заткнула уши, чтобы не слышать даже шагов возвращающейся Агапиты, и когда странница прошла мимо, Капитолина бросилась лицом в подушку и заплакала.

В том, что зловещее предупреждение Минодоры, только что сделанное Агапите, означало смертельную опасность лично для нее, Капитолины, девушка не сомневалась. Она понимала, что люди, так безжалостно умертвившие ни в чем не повинного младенца, не остановятся ни перед каким преступлением. Но девушку и удивляло и беспокоило

собственное состояние; ей чудилось, что ее сознание, ее существо постепенно и ощутимо раздваивалось: одна половина подстрекала к немедленному бегству для спасения собственной жизни, другая половина требовала набраться терпения, быть начеку, во что бы то ни стало дожидаться какого-то конца и, если потребуется, вступить в любую борьбу с Минодорой и Платонидой. Всеми силами души возненавидев странноприимицу и проповедницу, Капитолина все больше и больше склонялась ко второй мысли: подраться за свою судьбу с теми, кто собирался вершить ее. Девушка, однако, тут же вспомнила, что она совершенно одинока в этом вертепе и окружена врагами или ненавистниками — ведь донес же кто-то Минодоре или Платониде о ее намерении бежать?.. Кто из двух, Калистрат или Агапита, был доносчиком?.. Ведь только с ними она делилась своими думами?..

Однако, подозревая Калистрата и Агапиту, девушка недоумевала: для чего же в таком случае мужик заступился за нее перед Минодорой, а странница отговорила от пагубного пути с воровством и указала честную дорогу?.. Неужели это были только уловки с их стороны, маскировка предателей?.. Что Агапита лицемерна, теперь сомневаться не приходилось, и в глазах Капитолины она потеряла право на всякое сочувствие и доверие, но Калистрат?.. Он не угодничает, и с тех пор, как избили Капитолину, не бывает у Минодоры. «А не лучше ли плюнуть на синяки и на обитель, послать к чертям Минодору с Платонидой и бежать? — рассуждала девушка. — Сегодня же, как только посильней стемнеет и Агапита уснет. И Агапитушке — капут!.. Капут?..» Капитолина привскочила на топчане, села и со страхом взглянула на стенку Агапитиной кельи — из-за перегородки доносился стон. Девушка вспомнила, что стонет расхворавшаяся Неонила, однако освободиться от вдруг вспыхнувшего сострадания к Агапите уже не могла. «Нет, не побегу! — проглотив снова подступившие слезы, прошептала она, потом, сама не понимая для чего, бережно провела ладонью по стенке Агапитиной кельи. — Я удеру, а они тебя здесь... как твоего ребеночка. Не уйду, а такое придумаю, что им пухнуть придется!.. Эх, жалко, что я не комсомолка, как Надюшка или хоть как Клавка... Постой, неужели же я хуже Клавки, если бы не дезертирка?.. А вот что бы сделал совсем хороший комсомолец, если бы очутился в тайной секте? Факт

бы, что с ножницами не носился: была бы ему нужда змею дразнить! И со своей бы овчиной не цацкался, спасать ее или не спасать. Он бы давно уже сходил в колхоз: вот вам, товарищи, факт налицо, вредная секта. В ней кулаки чужого труда Минодора и Прохор, детская убийца Платонида, дезертир Калистрат и одна сволочь, которую по петушиным глазам видно. Там же известная идиотка из фэзэо, наученная сектой так, что будь здоров, и еще две дурищи. Если желаете, забирайте, и вот вам все ихние ходы-выходы».

— Факт налицо, что сегодня же ночью подамся, — решительно прошептала девушка. — У меня чемоданов-то — так точно, никак нет!

Дверь вздрогнула от удара снаружи.

— Куд-кудах, Капка! — прокричала Варёнка. — Чего ишшо прохлаждашша, Платонидка в моленну зовет!

Дурочка по своему обыкновению пригрозила какими-то страшными карами и затопала по коридору. Капитолина озорновато ухмыльнулась: приказ ненавистной старухи теперь и не страшил и не раздражал девушку, как бывало прежде, а лишь смешил и подзадоривал, точно детская игра в кошки-мышки — «кошка» урчит и целится схватить, а «мышка» уже в укромной щелочке. Однако чтобы не навлечь на себя подозрений и не погубить задуманного плана, Капитолина решила отстоять последнюю вечернюю заповедь со всей строгостью преданной послушницы. Она повязала голову уставным для девушек-странниц белым с темной каймою платком, взяла девичью же из розовой материи лестовку и огрзок сальной свечи и, прежде чем выйти из кельи, постаралась изобразить на лице молитвенную благопристойность.

То ли оттого, что в тесной молельне жарко потрескивали лампы и свечи и обильно пахло ладаном с тлеющими кореньями, или потому, что Капитолина пришла последней, к стиху «Откровения богородицы», когда молящиеся уже изнывали от духоты и пота, но девушке показалось, будто она очутилась в жаркой черной бане. Она встала вместе с не крещенными по канонам общины в левом уголке молельни, «притеплила» свою свечу от свечи Калистрата, положила глубокий поклон и вслушалась в слова Платониды.

Проповедница читала длинную стихиру наизусть, выговаривая и без того строгие слова с гневным надрывом, как

будто бранила божью мать за то, что, родив Христа, она не швырнула младенца в хаос ледохода, как бы сделала сама Платонида. Девушка поежилась от этого воспоминания и в который уже раз подумала: почему все молитвы лишь обличают, ругают и угрожают?.. Когда-то, еще в первые дни своего пребывания в обители, она спросила Платониду, почему нет веселых молитв.

— Христос не гармонщик, — сердито ответила тогда проповедница, — а мы не хлысты, чтобы святые песнопения отплясывать. В молитвах божий страх сокрыт, и мы сим страхом сущи, ибо глаголется: рабы да убоятся господина своего!

В сознании девушки понятие о рабстве всегда почему-то сочеталось прежде всего с личностью Варёнки: нигде и никогда Капитолина не встречала такого несчастного, всеми забитого существа. И теперь, глядя на дурочку, она подумала, что следует разорить Минодорино гнездо хотя бы ради одной Варёнки.

Дурочка молилась, стоя на коленях. Как ни изощрялся старик Коровин вбить в ее полоумную голову, что «богоматерь-баба и поэтому числится во святых третьего разряда», что она чуть постарше ангелов и много ниже апостолов, что каноны общины запрещают молиться перед богоматерью на коленях и курить ей фимиам, Варёнка не считалась ни с какими доводами: раз молиться, значит молиться, а кому и как — не все ли ей равно? Почесывая грязными ногтями, то подмышками, то в беловолосой голове — отчего и крестилась попеременно либо левой, либо правой рукой, — дурочка, невероятно спешила: надо было и перекреститься, и похлеще боднуть пол, и потереть саднивший от поклонов лоб, и почесаться. «Вот это бесподдельная раба, — следя за Варёнкой, подумала Капитолина. — Такие-то и нужны Минодоре с Платонидой». Наконец Варёнка, видимо, уморилась. Не подымаясь с коленей, дурочка присела на растрескавшиеся пятки, обвела всех посоловелым взглядом и, вероятно, вспомнив нечто важное, хлопнула ладонями по бедрам.

— Куд-кудах ведь, Калистратко! — громким полупшепотом проговорила она. — Тебя Минодора ночевать звала!

Капитолина прыснула со смеху; громче запели проповедница и обе странницы; глухо подтянул Калистрат.

— Пой, ящерка! — прошипел Коровин над ухом Варёнки.

— С картинками?!

— Я тебе дам ночевать! — снова прошипел Прохор Петрович и с силой щипнул дуручку за руку.

— Ой! Чего ты, Прошка!.. Раз Минодорка велела...

Варенка жалобно захныкала, кулаками размазывая по щекам мутные слезы. Капитолину вдруг охватило желание размахнуться и что есть силы наотмашь хлестнуть лестовицей по лицу Коровина. Но, приглядевшись сбоку к оплывшей жиром и налившейся злобой толстоносой физиономии старика, девушка с омерзением отвернулась и снизу вверх покосилась на Калистрата. Мужик стоял, понутив лохматую голову, и, не моргая, глядел на огонек свечи, зажатой в его огромных сучкообразных пальцах. «Тоже харя и тоже раб, — без прежнего чувства расположения и жалости к Калистрату подумала Капитолина. — Ему бы в лапах-то пушку держать, а он здесь со свечечкой ужимается, пилюля моченая! Сейчас от бога да прямо к полюбовнице побежит: ни стыда, ни совести... Еще одной морды не хватает — издыхать, что ли, собрался петушиный глаз... Жалеть таких?.. Фиг вот!.. А эта-то, Агапитушка, как перед Платонидой извивается, тьфу!»

Агапита стояла бок о бок, кланялась ухом в ухо с проповедницей и звонко подпевала ей. Хриплым, простуженным голосом им подтянула Неонила, потом, точно прикапканенный заяц, заверещал Коровин, что-то загудел Калистрат, и девушка до боли прикусила язык.

После моления ее подозвала Платонида.

— Где замешкалась, к вознесению пречистой зорницы опоздала? — строго спросила старуха.

— Проспала, сестрица, — с нижайшим поклоном со-агала девушка.

— Святая повинность угодней лукавства, дево, — похвалила проповедница, охватывая припухлое от слез, как ото сна, лицо Капитолины мерцающим взглядом. — Зрю! каноны в молитве блюдешь, белый плат на голове, в руке лестовица стопоклонная. Спасет тя Христос, а я, раба, восхваляю и радуюсь!..

Изучившая повадки Платониды, девушка понимала, что за похвалой проповедницы припрятана лисья хитрость. Дребезжащий и как будто ласковый голос старухи нет-нет да и срывался на властные нотки, а в сумеречном взгляде проблескивали волчьи искорки. Даже поза Платониды выдавала ее душевное движение: она стояла прямо и твердо,

точно позабыв о своем уродстве. Девушка недоумевала: откуда у старухи, еще недавно, казалось, с любовью толковавшей ей библию, евангелие и каноны общины, готовящей ее к крещению, накопилась против нее, Капитолины, такая лютая злоба?.. Она покосилась на гасившую свечу Агапиту и подумала, что если эта странница донесла о ее намерении бежать, то выдала ее и как единственную свидетельницу убийства ребенка!.. Капитолина еще сильнее ощутила над собою дыхание смерти, вообразила, как будет замурована в этом подвале, и твердо решила бежать — если все выходы из обители будут закрыты, она выберется через незарешеченное окно Калистратовой кельи, как только мужик уйдет к Минодоре.

— Восхотела ли, дево, принять святое крещение? — строже спросила проповедница.

— Да, сестрица, — с таким же поклоном ответила девушка, чувствуя, как, несмотря ни на что, закипает внутри ее всегдашнее озорство.

— Опять хвалю, но внемли: трудом, постом и молитвой взыскуется благоволение спасителя!

— Приказывай, сестрица.

— Тако, раба. Верю, ибо исповедую. Слушай же...

Старуха скособочилась, и голос ее стал жестким.

— Ныне мать-странноприимица и я, местоблюстительница брата пресвитера здесь, благословили тебя на подзвездное послушание. Разумей, дево: первопослушницею станет сестра Агапита, ты же токмо подручною. Верою и любовью приеми наущения твоей наставницы Агапиты — и спасет тя Христос... Сестра Агапита, зри: многое тебе нами даровано, за многое же взыщется. Ступайте во Христа. К утренней зорнице кликну.

— Аминь, — с раболепным поклоном произнесла Агапита.

Капитолина знала, что подзвездным послушанием назывались ночные работы во дворе, на огороде и в лесу, где странники тайно косили траву для Минодориной скотины, но никак не верилось, что ее выпустят из подвала. Переступив порог молельни, где Платонида осталась «изгонять беса недуга из болящей сестры Неонилы», Капитолина позабыла все свои тревожнения и, шальная от радости, бросилась к себе в келью.

— Сестра Капитолина, стой-ко, — позвала Агапита.

Девушка остановилась.

— До послуха потрапезуем, — строгим тоном старшей заговорила женщина, подходя вплотную, — а как затемнётся, жди брата Прохора; он поведет нас картошку по-доть.

Она оглянулась и одними губами произнесла:

— Не прыгай. Заметно. Платок не сымай.

Нахмурившись, Агапита ушла вверх по лестнице.

Озадаченная неожиданным предупреждением странницы девушка стояла возле дверцы кельи, прислушиваясь, как стучит в висках взбудораженная кровь. Мысли путались, будто в испуге шарахаясь одна от другой, вопрос перепрыгивал через вопрос. Неужели Агапита не изменила своему слову и верна дружбе с нею, с Капитолиной? Иначе зачем бы она предупредила ее быть степеннее. Но ведь она же всячески распиналась перед Платонидой и Минойдией? Значит, доносчиком был все-таки Калистрат? Но зачем Агапита сейчас ушла в верхние комнаты? Выходит, Прохор Петрович пойдет в огород, быть может, станет караулить? Значит, одной Агапите все-таки не доверяют? Почему нельзя снимать платок?..

Запутавшись во множестве вопросов, девушка наконец махнула рукой: пускай, лишь бы поскорее на волю, побольше вдохнуть свежего воздуха, а там не удержать ее и десяти Коровиным!.. К принесенной Варёнкою ячменной каше она не притронулась, но не смогла удержаться, чтобы не проследить за Калистратом: подслушала, как, громко сопя, он вышел из кельи, подсмотрела, как, мелькнув голыми ногами, скрылся за дверью на лестнице.

— Дерьмо собачье! — выругалась девушка и, не ожидая, когда позовёт Агапита, сама постучала в стенку ее кельи, проговорив: — Я потрапезовала, сестрица!..

Коровин ждал их на дворе.

На плече старика висел темный нагольный тулуп, голова была покрыта топорщащимся черным треухом, в руках он держал длинный и тонкий металлический прут. Видимо, желая показать, насколько остро и опасно его оружие, Коровин приподнял его, глубоко всадил копьё в землю и, притянув на себя, отпустил: прут зазвенел.

— Хе-хе, моя оборона-с, — похвастался он, обернувшись к Агапите. — Сим попереша льва и змия!

В темноте копьё показалось Капитолине огромной иглою, про которую в сказке часто упоминала мать; и девушка была уверена, что ею можно проткнуть человека на-

сквозь, но, уже чуя свободу, мысленно пошутила над стариком: «На меня страху нагоняет, а у самого храбрости, поди-ка, полные штаны!» Рассмеявшись собственной шутке, она смело шагнула впереди Коровина через подворотню задней калитки двора.

Пройдя по тропке до середины огорода, Коровин остановился возле кучки соломы и сбросил на нее свой тулуп. Потом, как настоящий страж, вытянул шею и из-под руки вгляделся в чернеющие заросли картофеля.

— Ну, с богом, Агапитушка, — прижимая и без того сиплый голос, сказал он. — Чуть подалее капустного рассадника первая грядка, так с нее и начинайте. Да почище, почище, голубица, поаккуратнее. А чуть что, так я здесь, кликни-с.

Капитолина обрадовалась: значит, старик не будет торчать со своей пикой над самой душой.

Агапита миновала капустный рассадник и, засучив рукава, молча опустилась на колени в борозду, тянувшуюся возле тропы. Капитолина поняла, что ей отводится внутренняя борозда, и присела на корточки против странницы. Полоть она умела, но по ночам, хоть и при луне, наощупь, не полола ни разу. Сначала девушка подумала, что может невзначай навредить, потом вспомнила, для чего, собственно, она здесь, и стала дергать траву как попало. Это сразу же заметила Агапита, приблизилась лицом к подруге и полушепотом предупредила:

— Поли как след быть.

— А мне наплевать! — дрожа от нетерпения, но так же тихо отозвалась Капитолина.

— Нет, не наплевать: завтра проверят.

— А я сегодня удеру. Вот вскочу — и айда к реке, и фиг мне его иголка!

— Удерешь? — приподнявшись, строго спросила Агапита, потом резко кивнула в сторону двора: — А эти змеи останутся?.. Эх ты... Я ночей не спала, ждавши, когда Минодору с прополкой припрет, тебя у Платониды вымолила, а ты... Эх ты!..

В голосе странницы прозвучало негодование.

— Тетя Агапита...

Капитолина торопливо нащупала в ботве холодную руку Агапиты, на мгновение прижалась к ней щекою, затем распрямилась и, словно под струи дождя, запрокинула вмиг погорячевшее лицо к небу. Девушке почудилось,

что каждая звездочка смотрит сейчас только в этот огород, на эту грядку и улыбается попеременно то ей, то Агапите.

— Тетя Агапита...

— Поли, — строго произнесла странница, — и больше не дергайся; теперь надо по-сурьезному. Этот дьявол с копьем над нами, вишь сидит, как коршун на голяше! Поли да почаще озирайся на него и хорошенько слушай, чего я говорить стану...

Влажная, но упругая в корнях трава мягко похрустывала под руками полольщиц. Картофельная ботва густо пахла заваренным крахмалом. Под ее широколистную крону не проникал свет молодой луны. В зарослях было настолько темно, что Капитолина лишь ощущала время от времени проворно снующие руки странницы где-то рядом со своими. Ни словом не перебивая спокойный и внятный полусшепот Агапиты, девушка то и дело взглядывала в сторону Коровина: не прислушивается ли старик, не подкрадывается ли к ним в темноте? Но Прохор Петрович, по-прежнему чернел на куче соломы, иногда шуршал ею, ворочаясь, и все чаще зевал. Агапита не подавала ему условленного сигнала, а над чернотой огорода мельтешил белый платок Капитолины — и старик был совершенно спокоен.

Полольщицы приближались к рассаднику.

Агапита рассказала, что Капитолина, по словам Платониды, «приуготовлена к вечному успению» как отступница, и Минодора ждет только пресвитера; что неусыпный надзор за смертницей поручен ей, Агапите, поклявшейся на евангелии устеречь девушку до часа расправы; что замысел Капитолины убежать и ее речи об убитом младенце выдал Прохор Петрович, когда-то подслушавший разговор девушки с Калистратом в погребе.

Для Капитолины многое стало понятным, однако, не зная всех замыслов Минодоры, девушка удивлялась, для чего странноприимица, безусловно не доверявшая изменнику Калистрату и, по всей вероятности, злившаяся на него, вдруг снова пригласила бывшего друга на любовное свидание? Настороженный разум Капитолины рвался проникнуть теперь и в эту тайну.

Минодора же просто спешила: времени до прибытия пресвитера оставалось в обрез, а Калистрат не был подготовлен для задуманной расправы над Капитолиной.

Она встретила его не в пышной постели, как он ожидал, а за столом, на котором стояло блюдо с капустой и знакомый ему графинчик. Пегие глаза Калистрата алчно расширились. Мало-помалу Минодора заговорила об одолевающих ее женских недугах, подвела речь к минувшей молодости, когда она была «точь-в-точь Капочка» и так же дожидалась сильного мужчину. Калистрат прерывисто сопел. Минодора слегка дотрагивалась плечом до его плеча, похлопывала теплой ладонью по его колену и вдруг чмокнула в щеку. Как всегда, быстро захмелевший и разожженный лаской и словами Минодоры, он схватил ее, как прежде, но она вывернулась, отбежала к душнику и громко сказала:

— Отстань!

Платонида явилась тотчас.

Ополоумевший мужик без труда подчинился проповеднице, но, спустившись в свою келью, не лег, как заметила стоящая настороже хитрая старуха, а дважды выходил в коридор и заглядывал в пустую келью Капитолины.

Капитолина же не помышляла о смерти — зачем думать о плохом, когда уже точно известно, что даже среди этой окаянной своры изуверов и убийц она не одинока. Девушка напряженно придумывала, как вместе с подругой ускользнуть из огорода, чтобы не заметил старик, не догнал их и не пустил в ход своего оружия, как быстрее поднять колхозников, чтобы никто не скрылся из обители?

— Ох, ну и жалко же, что Прохор с нами! — наконец вздохнула она, ничего не придумав.

— Не жалко, чуешь, а так надо, — сказала Агапита и сильно дернула привскочившую Капитолину за руку. — Поли, поли!.. Это я их просила: мол, надежней будет двоим за одной глядеть, за тобой-то. Они еще похвалили меня; а в нем толку-то меньше, чем в Варёнке. Недаром дочушка грызет его походя: там напутал да тут проспал. Уснет и здесь. Тулуп-от я же ему присоветовала. Старику он что печка, не вытерпит, чтобы не уснуть!.. Пущай он позевает, а мы за рассадником прополем и его по воду пошлем..

— Он уйдет, а мы — деру!..

— Нет, Капа, нет. Если убежим, все они той же минутой поскроются. Пущай он принесет воды, сюда подойдет, тебя увидит, охлынет от тепла, а как воротится к тулупу да запрядется в него, тут ему и сон. Ты тем временем беги

к старику Трофиму Юркову и расскажи про секту, про дезертиров, про ребеночка. Обскажи все ходы и выходы — как запираются-отпираются, чуешь?

— Да, да...

— Потом ко мне назад беги. Вместе станем дожидаться, когда все Минодорино гнездо забарабают. Может, чего-нито еще тайное от них вызнаем да милиции поможем. Мы с тобой теперь тут за все ответчики!

Капитолине стало стыдно самой себя за нелепые подозрения против Агапиты, за свои еще более нелепые замыслы побега, чем она могла лишь навредить большому делу, за свою горячность, из-за которой она оказалась неспособной распознавать врагов и друзей. Но побороть своей нетерпеливости девушка не смогла даже сейчас. Едва они продвинулись за рассадник и приблизились к Коровину, она попросила Агапиту поскорей отослать старика за водой. Странница и сама понимала, что летняя ночь коротка; она трижды кашлянула, что было условным сигналом.

Захватив пику, старик подбежал.

— С колодца-с? — выслушав Агапиту, спросил он.

— Все едино, хоть с колодца.

Коровин скрылся за калиткой.

— Найдешь Трофима Юркова, — проговорила Агапита, — напости ему, мол, это посылает та самая скрытница, которую он по лесу вез да которой говорил про волков и ягушек...

Врасплох застигнутый полольщицами и стариком Коровиным в огороде и затаившийся под капустным рассадником, Арсен прислушался. Из прежнего разговора Агапиты он уловил лишь немногие слова, но смысл их понял: «Ага, изнутри загорела кума Прохоровна! — с ехидцей подумал дарень. — Давай, давай, бабы, дави своих паразитов, а мы подмогнем!.. Не выйти ли к ним, покуда Прохора нет?.. Хотя не стоит, как бы не напугать; они меж собой-то откровеннее». Чтобы лучше слышать, Арсен чуть высунул голову из своего убежища.

— Боюсь, найдешь ли ты колхозный амбар, — продолжала Агапита с беспокойством в голосе. — Надо ведь шибко скоро и сбегать, и сказать, и сюда поспеть.

— Тогда хоть кому расскажу, — с жаром подхватила девушка. — Лишь бы колхозник!

— Нет, негоже. так, Капа. Ты вот тоже в колхозе была,

и я, и Калистрат; а Минодора, вишь, даже кладовщица. Надо, чуешь, найти верного человека. Ты вот что, Капочка... Постучи в чье-либо окошко и спроси: где живут Лизавета и Николай, оба Юрковы...

Пока старик Коровин угощал полотьщиц водою, а те ласково и весело благодарили его, Арсен соображал, что делать, если одна из женщин побежит искать Трофима Фомича? Оставалось одно: самому провести ее к колхозному амбару. «Хорошо, что я пошел поглядеть на крокодила сразу, — похвалил себя парень. — До него не дошел, так на других нарвался. Теперь надо глядеть в оба».

Расчеты Агапиты оправдались; успокоенный Прохор Петрович вернулся к соломе и тут же завернулся в тулуп — чего тревожиться, коль Агапита ни о чем плохом не сообщает, а девчонка, видимо, поумнела: не шалит, не насмехается, как прежде, разговаривает степенно и к каждому слову поминает Христа. Как только старик улегся, Агапита велела Капитолине снять платок и тотчас сама набросила его на кустик ботвы перед собою.

— Теперь беги, — приказала она девушке, — да бегом, бегом. Шибко жду тебя!

Капитолина выбежала к речке, лугами обогнула усадьбу Минодоры, перелезла через прясло и очутилась на улице. Арсен крался позади, пока девушка не достигла центра деревни. Видя, что она остановилась и беспокойно озирается по сторонам, парень тихонько окликнул:

— Гражданочка!

Девушка обернулась, увидела перед собою человека, сама не понимая для чего, медленно подняла руки и прошептала:

— В-вы... к-колхозник?..

— Так точно, азинец, а вы — Капа из секты?

— Ой!

— Не стоните глубоко — не отдадим далеко, хоть за курочку да на свою улочку! — желая подбодрить ее, быстро проговорил он. — Вам Трофима Фомича Юркова? Знаем, идемте, доставлю.

Пораженная всезнайством парня Капитолина будто застыла на месте; Арсен легонько взял ее под руку:

— Пошли, тетенька, вам надо бегом, бегом и назад.

— Ой, ну откуда вы узнали?!

— Не всяк спит, кто храпит!

Они близко взглянули друг на друга.

— Выходит, что вы еще не тетенька, — удивленно протянул Арсен.

Капитолина рассмеялась:

— А вы, наверно, кавалер...

— На весь свет: от девчат отбою нет!.. Мельник я колхозный, если без шуток.

— А я дома на колхозной круподерне работала.

— На крупорушке?! Так вы же клад с несметным золотом, если поглядеть с точки зрения!.. У нас крупорушка на мази, а вот крупорушник воюет... Дело!

Они подошли к колхозному амбару.

— Черт возьми, — выругался Арсен, — Трофим Фомич не один!

Сквозь мрак между амбаром и пожарным сараем проступала одноконная подвода. Приблизившись к ней, Арсен узнал серую колхозную лошадь, запряженную в легкий тарантас. Увлекая Капитолину за руку, парень шагнул под навес, где, освещаясь огоньками цигарок, виднелись Трофим Фомич и его сын.

— Николай Трофимыч! — крикнул Арсен. — С приездом!

— Тсс, побереги голос, — предупредил Николай; только что вернувшись из района, он не доехал до конного двора, решив расспросить отца о новостях. — В чем дело, орел?

— Вечерняя находка, Николай Трофимыч: привел сектанточку из Минодориного огорода. Приказано опросить, записать и той же ногой представить в обратный огород.

— Кто приказал?

— Ее подружка.

Юрков позвал девушку из-под навеса на свет луны и всмотрелся в ее лицо. Подошел и Трофим Фомич.

— Как есть школьница, — сказал он, обдавая Капитолину запахом табака. — Эх вы, ягушки, ягушки!

Разглядев на Николае военную форму, девушка вообразила, что перед нею милиционер, растерялась и выпалила:

— Я дезертирка из фэзэо, товарищ милиционер.

— Страшно, — сказал Николай таким тоном, что ни Трофим Фомич, ни Арсен не поняли: в шутку это сказано или серьезно.

— Украла там комбинезон — один, простыню — одну...

— Жуть, жуть, ну, а про секту расскажете?.. Странника Агафангела знаете?.. Хотя вот что, зайдемте-ка сюда.

Он ввел девушку в сторожку и зажег свечу.

— Вот и мой кабинет за милу душу пригодился! — пошутил Трофим Фомич.

— Дядя Троша, почему Николай Трофимыч так долго в районе был? — спросил Арсен, заглядывая в оконце будки: парню не терпелось и о деле узнать, и получше рассмотреть новую знакомку при свете огонька.

— По отделах, слышь, мытарили, — ответил старик с явным раздражением. — Один не верит, что в нынешние годы скрытники завелись: мол, кулаков давно вывели. Другой сумлевается, что дезертир летом в доме прячется: понапрасну людей обыском опорочишь. Третий в чего-то еще уперся... А все вместе боятся сектантское гнездо потревожить: религия!.. Пуще всего то, что в районе самого главного нету. Ждал, ждал его Кольша да так и уехал!

— Ладно, дядя Троша, теперь порядок, — успокоил Арсен, не отрывая взгляда от оконца. — Глянь, какая деваха с нами... Одни глаза — смерть фашизму; такая любую секту наизнанку вывернет!

Капитолина поражалась, как много знал об обители человек в военном, и с удовольствием чувствовала, что под защитой таких людей ни ей, ни Агапите нечего страшиться. Непонятным и вроде даже обидным казалось одно — почему милиционер не спрашивает ее о ней самой; неужели Гурий, или Калистрат, или Платонида хуже ее, дезертирки и воровки? Однако вскоре поняла, что перед нею не милиционер; а дело, начатое ею и Агапитой, куда важнее, чем школьные бязевая простыня, молескиновая гимнастерка и замасленный комбинезон из парусины. Подбодренная этим, девушка спеша рассказала о людях обители. Совершенно разные во всем и несомненно существующие эти люди приобретали в обрисовке девушки какой-то мистический облик. Не менее мистично выглядели и почерневший от времени дубовый гроб в горнице Коровина, и иконостас из медниц с потайной щеколдой, и похождение на могилы затененные лампадами келии скрытников, и подземная молельня с клубами дыма от курящихся в жаровне кореньев, и тайные входы и выходы.

Николай слушал — и в душе его металась буря; его подмывало и расхохотаться в лицо Капитолины, и благодарить ее за откровения. Он неплохо, казалось ему, знал кол-

хозную кладовщицу Минодору Прохоровну и ее отца Прохора Петровича, но, по-видимому, знал — да не тех. Он тысячи раз видал их дом вблизи и издали, но, очевидно, видал — да не тот. И дом на высоком пригорке, словно на показ отскочивший от других домов, и хозяева в нем, точно в назидание коренным узарцам привезшие откуда-то недеревенскую дородность, были известны всем — и неведомы никому. «Ведь островок, левая точка в море, а гляди, сколько дряни! — возмущался Юрков, слушая Капитолину. — Видимо, самая пакость с округи собралась под одну крышу, вся их труха, все подонки, раз главная проповедница здесь... А попробуй не сколупни эту коросту — размножатся, натащат в свою паутину черт те кого; мух, комаров, слепней еще сколько угодно. Но диковина, страшная диковина!»

— Девушка, вы не... это все правда? — наконец строго спросил он.

Капитолина перестала дышать, долго в упор посмотрела на Юркова и, вытянув руку вдоль стола, тихо-тихо сказала:

— Рубите по локтю... потом проверьте.

Ласково похлопав девушку по руке, Николай улыбнулся:

— Уберите, пригодится: по себе знаю... Значит, вас Капой звать?.. Спасибо, и слушайте....

Через две-три минуты они вышли из будки.

— Арсен, проводи Капу на огород, — сказал Николай. — Что делать им с подружкой, она знает... Айда, светает. Утром забеги ко мне.

Звезд на небосводе стало меньше, а оставшиеся заметно приподнялись и потускнели. Контуры деревьев и построек, расплываясь, словно таяли в предрассветном темно-сером мареве. От реки по улице щекочущими тело волнами наплывал холодок. В стороне поймы, стараясь перекричать друг друга, скрипели неугомонные коростели. Над кривой чертою еще темного леса чуть заметно проступала розоватая полоска зари. В чьем-то дворе, громко всхлопнув крыльями, пропел петух.

— Ах, хорошо! — будто похвалив певца, проговорила Капитолина.

— Вы, Капочка, только не трусьте, — напутствовал ее Арсен, пытаясь шагать в ногу со спешившей девушкой. — Их там раз, два и обчелся, а нас — армия. И знаете что—

пишите. Я стану наведываться, а записки под камень за баней... Порядок?... Ну, счастливо!

Арсен помог Капитолине перелезть через изгородь; и она, словно мотылек, мелькая над травами, понеслась к маячившему на ботве своему белому платку.

IX. В ПОДВАЛЕ И ПОД СОЛНЦЕМ

Поручив Серка отцу, Николай направился к Андрею Рогову. В избе председателя мерцал огонек, хозяйка растапливала печку. Юрков постучал в раму окна, вызвал Рогова на улицу и, не успев свернуть сигарки, услышал скрип деревяшки во дворе. Председатель появился в воротах немного заспанный, однако уже одетый в свою суворовскую походную форму: легонький, когда-то синий, теперь вылинявший плащ, наброшенный поверх белой майки, черные штаны и давным-давно стоптанный кирзовый сапог. Разглаженная надвое русая борода и пегие выцветшие полосами волосы его были сыры; отсыревшим казался и голос.

— Здорово, — пробурчал он, разглядывая светлеющее небо.

— Здравствуй, Андрей Андреич, — ответил Юрков. — Зайдем в правление, дело есть.

— Довез? — спросил Рогов, поворачивая в сторону конторы.

— Довез... Дезертиром оказался, Антоном Тимофеевичем Зайчихиным. Бывший причетник из Кудинского района.

— Сосед.

Николай усмехнулся.

— Такие соседи ближе водятся, — сказал он, входя в помещение. — Хотя бы в хоромах на Коровинском пригорке.

— И ты про секту?

— А тебе чего-то уже известно?

Рогов посопел, свертывая сигарку, пыхнул дымом и явно нехотя проговорил:

— Болтают... Либо блажь, либо стародавняя отрыжка, только путного покуда ничего... Прося у меня вечером была, по секрету сказала, что твою жену в секту сватали. Ну, а я это год назад знал, мне сама Лиза говорила. Быльем поросло!

— Нет, не поросло, Андрей Андреич, слушай...

Николай стал рассказывать, что знал от Капитолины. В предутренней полутьме и за табачным дымом выражение лица председателя казалось неясным. Только потому, что дым этот все чаще и гуще клубился в его бороде, Юрков догадывался, сколь велико волнение старого воина.

— Сам я подозревал с весны, — продолжал Юрков, — но ведь подозрение не факты. Вчера был в исполкоме — не верят; был в милиции — обещали как-нибудь наведаться; был в прокуратуре — Кропотликина сказала, что придет сама, как только вернется прокурор; в райкоме — ни души, все по сельсоветам... А время теперь не ждет!

Рогов бросил окурочок под ноги. По полу брызгами рассыпались искры. Председатель забухал было по ним своей деревяшкой, потом вскочил и остервенело затоптал их здоровой ногой. Посидев, чтобы вывернуть наизнанку пустой кисет, он, казалось, всем нутром выдохнул свое излюбленное ругательство:

— Кролики!.. Дай закурить... И ты кролик, ясно?.. Почему не сказал нам раньше?.. Не доверял?.. А нам Владимир Мартынович Азин доверял. А Владимиру Мартыновичу Азину — Владимир Ильич Ленин, ясно?.. Спиридон, Фрол, самосуд... Да Спирька с Фролкой мимо контрреволюции никогда не стреляли, ясно?.. Это — люди, а не вытербленные кролики вроде нашего исполкомовского секретаря... На таких ревтрибунал девятнадцатого года нужен!

— Ну уж это анархия, — неожиданно вырвалось у Юркова.

Рогов, точно обжегшись, опять пыхнул дымом.

— Молочко над усами вытри, — помолчав, с притворной ласковостью проговорил он. — И не плюй на то, чего не нюхал.

Юрков не обиделся — понял, что сказал не то.

— Ана-а-архия, — продолжал Рогов с язвительной ухмылкой. — Такая анархия лучше нас с тобой давно бы навела порядки в Минодорином королевстве. Да заодно бы и кроликов на свет вытащила!.. Тебя бы первого за хвост да на мороз. Знал, подозревал и помалкивал — значит, измена; вот как мы эти поступки ценили по нашему, по-трибунальски!.. Носом крутишь, язык пристыл?!.

Юрков знал: прорвало Рогова — молчи.

— Жалею, не знал, что там два дезертира и убийца, без милиции бы не приехал, — сказал он, когда Рогов смолк. — Теперь попробуй вытребуй сам.

— Мне до района не дойти; у меня одна нога, да и та разрывается между взметом пара и сенокосом, а половина лошадей воюют... Я вот выйду на разнарядку, расскажу народу, как полагается, всю правду и поведу глазами на Минодорин пригорок...

— Этим не шутят, товарищ Рогов!

— Ты знаешь, что я не шутник.

— Но сначала поговорить, объяснить, убедить...

— Кого? — вскочив, рявкнул Рогов. — Кто предает Родину, кто детей топит, кто колхоз обворовывает?

— Я говорю о районе, с районом надо поговорить... Тебе лично.

Рогов сел, в две-три глубоких затяжки покончил с папироской, но окурок не швырнул, а воткнул в пепельницу и до скрипа прижал толстым пальцем.

— Ладно, проведу разнарядку, сгоняю в сельсовет, позвоню прямо в прокуратуру. Станут волынить — сами распотрошим, так и заявлю. А ты иди поспи; гляди, глаза-то, как у протухлого судака... От работы освобождаю, но за Минодорино гнездо кладу ответственность на тебя. Теперь пойдем, народ подходит. Надо собрать еще ревкомиссию, пускай они кладовку по гарницевому сбору...

— А это рано, Андрей Андреич: спугнешь весь выводок.

— Тоже верно. Хорошо, повременим.

Они вышли к колхозному амбару, где возбужденно гудели до двух десятков мужских и женских голосов. Причиной шума оказалась копия «святого» письма, написанная ярко-синим карандашом и доставленная сюда стариком Никоном, тем самым, что запевал «Дубинушку» на плотине. Встряхивая бумагой, дед Демидыч допрашивал запевалу:

— Списывала?

— Списывала, — отвечал Никон, крутя сивенькой бороденкой и озираясь на женщин. — Списывала, сам видел, суседке, слышь, снесу... Прекратил!

— Избил всю начисто! — зло выкрикнула Прося. — Тутто сенокосье, а тутто бабу покалечил.

— Ну уж как-то и покалечил! — защищался Никон; маленький, тщедушный, в посконной крашеной луковым

пером рубахе и таких же штанах, он походил на квело­го цыпленка; и только звонкий голос и порывистые жесты выдавали в нем недюжинную энергию. — Покалечил... А только и махнул вот этак вот кулаком по платку!..

— Руки, ноги повывертел! — как будто с шутейной из­девкой над стариком нападала Прося. — Рядом живем, не скроешься!.. Что в бане богомольничала — полслова не молвил; а за письмо, как беркут утя, истерзал!

— Тьфу, ты, балаболка!.. А еще сватьей доводится. Вот запусти такую в суд, отца-мать оболгет и не помор­щится... Повывертел!.. Истерзал!. Сорок годов любяся живем, и вдруг — руки-ноги. Да ежели бы не энтое письмо, дак неужто бы я начал? Молись ты, окаянное сило, хошь в бане, хошь в конюшенке, только суседкам не пиши!.. А так, говорю, прекрати — и р-раз по платку!.. Сердце не выдержало... Тут, говорю, война, сенокосье, а ты, говорю, про светлые одежды и еще, говорю, Оксинью совращаешь, ах ты, говорю, — и р-раз ее по платку!.. А пишулю взял, отобрал и сюда, бригадиру Демидычу... Вот как было-то!

Демидыч поднялся, с высоты своего роста прощупал колхозников орлиным взглядом и, встретив больше пас­мурных, чем улыбающихся лиц, нахмурил косматые брови и надел очки.

— Хоть и богомольна Анисья... — снова начала Прося.

— Будя подъелдыкивать! — грозно осадил ее брига­дир. — Таких-всяких и без тебя много... Никон Арефьич по-нашенски сделал: значит, собрание с Бойцовым пра­вильно впитал; всем бы от него поучиться, а не зубы мыть. Сказано: сознательно али бессознательно, и Анфисья Ми­роновна, значит, в бессознагельных. Выходит, растолма­чить ей надобно миром да собором что фулеру на руку, а не хаханьки!.. Потом нещадно синий карандаш установить. Ну-ка, докладайте, кто у кого в деревне видывал синий карандаш?.. С нами, говорю, спорь да оглядывайся!

— По локоть лапы-то писакам, по локоть!

— Всем отрубишь, кто робить станет?!

— Не все пишут; подлецы пишут, и ты их не больно шити!.. Верно сказал Савельич — по локоть!

— А кто мне закажет молиться, ежели я того...

— Не про моление мужики бают, а про писак, дура!..

— Кто дура?.. Сам сумасшедший!.. Затрясли борода­ми-то...

— Сарафан на башку, да арапником!

— Руки короткие, зараза пучеглазая!..

Перебранка разрасталась в ссору. Кто-то кого-то упрекнул давно забытыми пороками; эта кому-то плюнула на жилет; тот потрясал корявым пальцем перед чьим-то покрасневшим носом; двое уперлись борода в бороду и злобно шипели, как рассвирепевшие гусаки. Точно гром и ветер, перепутались мужские и женские голоса. Защелкали словечки, от которых стыдливые девчата подались прочь из-под навесика. Только ребята хохотали до слез, как будто ни с того ни с сего, развеселившиеся старики и бабы разыгрывали перед ними потешную комедию: нашли из-за чего орать на всю деревню — из-за глупого письма; жаль, Арсена нет, вот бы сочинил частушку, всем бородачам на стыд!..

Минодора пришла на разнарядку в разгар шума. Она могла и не являться, но гнетущая подозрительность влекла странноприимицу туда, где собирался и гомонил народ, — вдруг придется извернуться, чтобы замести какие-то следы. Крики спорщиков о «святых» письмах насторожили Минодору, в груди болезненно колыхнулось, но ее выручила Прося. Распаленная ссорой солдатка кое-как объяснила причину шума, и странноприимица успокоилась. «Ого, если письма зацепили такую семью, как Никонova, — злорадно подумала она. — Семейка — близ не пойдешь, трудодни от колхоза на тройке возят!.. Письмишки и Просю с Никоном поссорили — вот тебе и милые соседushки, в одной бане парились, ребятишек чуть не с пеленок сосватывали!.. Да и народ кипит; ишь как царапаются, будто один от другого жену отбил, самовар украл, ворота вымазал — кутерьма!.. Теперь перетасовывай бригады: Никон не будет робить с Просей, тот с тем, эта с этой — вот тебе и сенокос!.. А почему бы кутерьмой не попользоваться?.. Послушники мне и в городе надобны. Попробовать сманить избитую Никонишу? Обиженные-то драчливыми мужьями легче всего поддаются Платониде!»

Глаза Минодоры алчно сверкнули.

Под навесиком появились Рогов с Юрковым. Разбушевавшаяся толпа, прокашливаясь и пряча глаза, постепенно смолкла. Выяснив причину галдежа, Рогов взял «святое» письмо из рук Демидыча и сказал:

— В конторе есть все почерки; сличим и узнаем, кто сподручничает врагу, а уж потом пускай не обессудят, ясно?.. Теперь слушай разнарядку.

Председателя перебила жена Никона. Высокая, тонкая, нikhлястая, с наружностью голодной щуки, одетая в старинный серый сарафан со стеклярусом, она по-щучьи с ходу врезалась в толпу и заговорила глухим, почти мужским баритоном:

— Граждане! Вы вот чего... Выключайте меня да Оксенью с бригады, покудов петровки не кончатся. В пост мы с Оксеей робить не станем, в пост говеть надумали, как пророк велит.

— А трудодни-то, Анфисья Мироновна? — уронив очки на колени, оторопело проговорил Демидыч.

— У меня их с нового году четыреста заработано, хватит. А старика мово не шевели, он и без того ни на что не гожий... Дратся сроду не дирался — Проська все это наспинстала; ходит, ляшки-то трет, суседушка!..

Она плюнула в сторону Проси, круто повернулась и широким шагом направилась к своему дому.

— Вот как он, пророк-то, — со злостью выкрикнул Демидыч. — Враз двух человек из моей бригады выхватил!.. Как теперича, Андрей Андреич?

— Ладно, сам схожу к Мироновне, — ответил Рогов и мельком покосился на Минодору. — Теперь на покос, ясно?

Когда колхозники, блестя косами и посверкивая глазами друг на друга, хмурой, молчаливой толпой выходили из-под навесика, председатель задержал бригадира.

— Вот чего, Демидыч, — предложил он старику, — кончишь косьбу в ложке, ставь всю бригаду на пойму вдоль Минодориной усадьбы.

— Да-а, там трава поспела...

— Пospела, поспела, пора.

Юрков прикрыл ухмылку ладонью, он разгадал маневр председателя: окружить дом Минодоры со всех сторон работающими колхозниками и по крайней мере днем не выпустить из него ни одной души. В самом деле, какой невздорный, да еще знающий за собой определенную вину человек рискнет выйти из этого дома светлым днем, если с потолка под самыми стенами его станет цепь косарей деда Демидыча, на юге в полукилометре видны пахари Спиридона, на севере пасут молодняк старики, а на западном берегу резвятся дети из колхозного садика под присмотром своих воспитателей? Вот ночью — другой разговор!..

Как будто на лету перехватив догадку своего полевода, Рогов обернулся к нему:

— Ночью поставь караулы, — произнес он вполголоса. — Подбери шесть-семь хороших охотников; приедет милиция — подмогнешь. Спирю с Фролом не надо: самосуд не самосуд, а палку перегнуть могут. Ступай спи. Вечером зайду.

— Ты на телефон?

— Да.

Лизаветы дома не было; сегодня ее бригада спозаранку полола и окучивала картофель. На рундуке, заметнув руки под голову, похрапывал после ночного дежурства Трофим Фомич; в страдную пору старик отдыхал не больше трех-четырех часов, потом вставал и уходил на помощь особенно отстающей бригаде. На столе, рядом с крынкой молока и краюхой хлеба, белела бумажка — Арсен писал: «Пришел да ушел. Зайду вечером».

Николай позавтракал, разбудил отца, проводил его на сенокос и, собравшись навестить три бессонные ночи, лег на кровать. Но сна не было, в голове роились мысли о ночных караулах и помощи милиции в случае нужды. Охотников, вполне здоровых и надежных стариков, набиралось четверо; он не считал себя, отца и Арсена. Семи человек хватило бы и на все лазейки из Минодориной усадьбы и войти в дом, чтобы взять теперь вполне определенных преступников. Однако кто же должен первым подставить лоб под пули — ведь не может же вооруженный дезертир не стрелять? Было бы еще полбеды, если там вооружен один, но если двое-трое?.. Риск слишком велик, и попробуй впоследствии оправдаться, если прольется чья-нибудь кровь. Но нельзя, невозможно обойти вниманием то, что рассказала Капитолина:

— Калистрат — медведище и всегда с топором; Минодора напела ему, что дезертиров расстреливают, и он не сдастся. Петушиный глаз прячет наган под матрацем — Агапита выглядела, когда мыла пол в его келье. У старика пика, он дважды два проткнет. А Платонида — сука; прижми ей хвост, так она не уstraшитcя и десяти смертей!.. Ну, Неонила только завоюет, она такая. Еще имеется Варёнка, полоумная дура. Вот уж та повопит так повопит!

Изобразив переполох дурочки, Капитолина смеялась; однако именно Неонила и Варёнка смущали теперь Юркова едва ли не больше, чем все обитатели подвала. Он понимал, что дикий крик и визг в данном случае опаснее стройного залпа, страшнее взрыва бомбы. Стоит завывать

старухе, как завопит дурочка, возникнет паника, вспыхнут выстрелы, и могут быть жертвы. Кто поручится, что де-вертир, пользуясь хаосом, не застрелит или не зарубит хотя бы ту же Капитолину либо Неонилу, чтобы потом свалить убийство на колхозников? И кто знает, не истолкуют ли все это как нападение самосудчиков на религиозную общину — разве мало еще злопыхателей?! .

Когда вернулась Лизавета, он сидел на кровати и докуривал едва ли не десятую папироску. Полагая, что муж спит, она вошла на цыпочках, но увидев его бодрствующим, остановилась поодаль напротив и рассмеялась. Красная косынка, повязанная под подбородком и четко обрамляющая правильный овал ее чуть-чуть горбоносого лица, голубенькая безрукавая блузка, кажущаяся слишком тесной на груди, серая юбка, плотно облегающая крутые бедра, щеголеватые брезентовые полусапожки — все это придавало Лизавете прежнюю девическую привлекательность, и Николай широко улыбнулся. Жена подбежала к нему, поцеловала.

— Путешественник мой, — произнесла она, прищуренным взглядом обводя лицо мужа. — Поспал? Молодец. Руку перевязывал? Молодец. Поужинаешь?.. Давай умывайся, я соберу на стол, вот-вот папаша вернется.

Любуясь женою, Николай встал.

— Ужас душу грызет, — продолжала она, готовя ужин и рассказывая о своем походе на усадьбу Минодоры. — В городе видывала крокодила в водяной ямине и то не испугалась, а уж этот не иначе как с того света приполз. Поверишь, Коля, глазища кровавые, будто задом наперед вставлены, морда клином с рыжим хвостиком, волосы на башке как костер горят, сам худющий, скелет смертельный... И почему это в сектах одни уроды?!

— Хорошие к ним добром не пойдут. Одно слово скрытники, а прячется всякая нечисть. Хотя есть у них одна смазливая девчушка, только и та бежит!..

Николай сообщил жене о своей встрече с Капитолиной, почти дословно передал рассказ девушки об обители и легонько упомянул про Агапиту с ее несчастьем. Над Лизаветой словно вдруг трахнул неожиданный гром.

— Утопили?! — простонала она, и крынка с молоком на ее рук грохнулась на пол. — Младенец... Чем надо быть... О-о-о!.. Чуюла я, чуюла, а ты еще смеялся... Полют в ого-

роде?.. Да, так я и сделаю: побегу к ним в огород, да, да, да!

— Незачем, Лизута, туда ходит Арсен.

— Не запрещай и не упрасивай! — крикнула Лизавета с каким-то необычайным для нее упрямством; лицо ее вспыхнуло и передернулось. Он боялся слез, но она не заплакала. Что-то отрывисто шепча, она почти бегала из кухни в комнату и, точно обжигаясь обо все, к чему прикасалась, швыряла на стол посуду и хлеб. Под ее полусапожками трещали черепки разбитой крынки, а на полу пестрела почмокивающая дорожка.

— Лизута, под ноги взгляни, — тихонько попросил Николай.

— А-а... Ну, Минодора, ну, волчица, гляди!..

С тем же ожесточением она подтерла разлитое молоко и подмела черепки. Только всполоснув руки и ставя на стол миску с душистой окрошкой, Лизавета заговорила, будто извиняясь перед мужем:

— Нет, вправду, Коленька, схожу. Арсен Арсеном, а я женщина. Женщины с женщиной завсегда откровеннее. Да и помочь им надо в этикие-то минуты. Если бы я там красношарого не видела, если бы про ребенка не знала, а теперь ни за что баб одних не оставляю!

Зажигая лампу, она добавила:

— Может, я их обеих из-под носу у Прохора сегодня же к себе домой утащу!

— С ума сошла. А дезертиры — удирай?.. Никого не трогать до милиции!

— Ой, Коленька, забыла!.. Я же в поле Рогова видела, милицию ему пообещали на завтра.

— Ну вот то-то же... Очень хорошо!

— Теперь отпустишь к бабам?

— Н-не знаю...

Оба вдруг рассмеялись.

Ужинали молча, украдкой взглядывали друг на друга, словно в первые дни своего супружества. Нет-нет да и подливая окрошку в тарелку мужа, Лизавета старалась погуще снять сверху сметанный отстой. Николай же не прикасался к хлебным горбушкам, помня, что жена любит похрустеть корочками.

Заметно темнело; в растворенные окна вливалась ароматная прохлада и доносились пока еще не смелые переделки коростелей. Лампа разгоралась, казалось, все ярче,

однако в удаленных от стола закутах избы все отчетливее вырисовывались черные лоскутья мрака. Будто разбуженный стоном ночных птиц, в укромной щели за печкой застрекотал сверчок. Николай неосторожно положил ложку и опустевшую тарелку — и глубоко, задумавшаяся Лизавета вздрогнула. Заметив это, он поцокал языком, потом посоветовал:

— Ложись-ка спать, Лизута, устала ты, перенервничала, да и без тебя там обойдется.

— А если нет? — тихо откликнулась она. — Если не обойдется?.. Ты же знаешь, что обе они не только в страшном доме, но и в незнакомой деревне. И люди там не просто чужие им, а злые на них. Ты ведь сам говорил об этом, говорил ведь? Вдруг там такое случится, что не успеют ни вдохнуть, ни охнуть — и помощи ниоткуда?..

В глуховатом на этот раз позванивании голоса Лизаветы чувствовалась какая-то особая, нежная теплота. Николай вспомнил, как перед самой войной жена, бросившись с моста в бушующее половодье, спасла тонущую ашвинскую школьницу, и понял, что ее не отговоришь: чужое бедствие она всегда воспринимала куда острее, чем свое. Лизавета же угадала, что запрещения не последует, и постаралась успокоить мужа:

— Не бойся, Коленька, ничего зряшного я не сделаю. Мне охота только, чтобы бабенки поняли да развеселились: мол, не бросовы они на белом свете, вот и все... Я всего-навсего на часок. Придет папаша — накорми.

— Иду, иду! — раздался под окном голос Трофима Фомича.

Старик вошел, жизнерадостный, как всегда, суетливый, звонкоголосый, и подсел к сыну.

— Замешкался малым делом, — начал он, хитренько улыбаясь. — Арсюшка подцепил... На-ка вот пишулю, Кольша.

Записка была от Арсена. «Сегодня они ждут попа, — вполголоса прочитал Николай. — Бабы чистят колодец. Не паляну — прилечу. Водяной».

— Вот еще не было печали... Пресвитер!

— Коля, я ушла.

— Договаривай: спать.

— Коленька, разругаемся!..

Николай нахмурился, но не ответил; ему не хотелось спорить с женою при отце. Трофим Фомич плескался у

рукомойника и рассказывал, как на покосе женщины из бригады Демидыча с утра до полдня ссорились из-за «святых» писем и как совсем неожиданно их примирило утиное гнездо.

— Никон подкосил гнездо-то, — говорил старик, принимаясь за окрошку. — А в гнезде двенадцать шилохвостниц. Расхватили бабы по два цыпленка: крылья, слышь, подрежем, да к домашним приучим... Разделили, нянькаются с ними, люлюкают и, гляди ты, помирились за милую душу!.. Одна Прося артачится — ой, и до чего же ералашная бабенка, неизвестно чего и хочет!.. Минодорица наущница, а, Лизанька?

— Было...

— Мало ее Фаддей лупцевал... Молочка я не хочу, сыт, побегу на часы.

Он встал из-за стола, небрежно, точно шуточно, перекрестился в передний угол на полочку с книгами и, захватив свою фузею, отправился к колхозному амбару.

— Вот что, Лиза, — заговорил Николай, когда за стариком стукнула калитка. — Или ты сейчас же ляжешь спать, или мы с тобой на самом деле поругаемся... Не мешай мне делать то, что приказал Рогов!

Последняя фраза была сказана с суровой четкостью, чтобы сломить упрямство жены; и Николай не ошибся. Лизавета молча убрала со стола, так же вышла в сени, где тотчас под нею сердито заскрипела кровать. Скрутив сигарку из самосадки, вышел из избы и Николай.

Он приостановился на крыльце. Против него, над светло-коричневым горизонтом, гигантской, добела раскаленной подковой висела луна. Из хлевушка доносилось тяжкое, как вздохи кузнечных мехов, пыхтенье коровы. Где-то на пойме призывно и жалобно крякала утка. «Обидели беднягу», — подумал о ней Николай и невольно прислушался к тишине в сенях, потом спустился во двор и медленно зашагал к речке.

Его встревожила записка Арсена, смущал пресвитер: старик он или молодой, мирный или вооружен, с его или без его ведома в общине скрываются дезертиры и детоубийца?.. «Будь он четырежды проклят, — рассуждал Юрков, садясь на бережок. — Нашел время ни раньше ни позже, и нужен-то он нам, как собаке пятая нога. Ладно, пускай немножко перетрусит: быть может, подальше от Узара уведет свою ораву. А может быть, еще не явится,

может, все закончим до него?.. Хорошо бы!.. Но как быть с низгушами, черт бы их побрал?! Вывести бы обеих на это время куда-нибудь в лес... Тьфу, устал я, чепуху мелю... Выкупаюсь, схожу к охотникам и посплю».

Теплая на поверхности, вода на дне, точно крапива, обжигала холодом. Чтобы не подмочить забинтованную руку, Николай шажок за шажком вошел в глубину, ежась, погрузился с плечами и, притерпевшись к прохладе, залюбовался рекой.

Прямо до светло-коричневого небосклона окаймленная нависшим над нею сплошным рослым тальником, чуть поволооченная новолунием река навевала покой. По ней, как по исполинской трубе, лился с лугов нескончаемый поток аромата свежескошенных трав. Будто для того, чтобы хлестнуть напоенного нектаром воздуха, над водою то и дело металась и мгновенно исчезала рыба. Чуть подвижные течением листочки, оброненные тальником, представлялись острыми льдинками; и чудилось: протяни руку, схвати льдинку и поранишь пальцы.

Купанье, как хорошее вино, приглушило раздумья. Николай вылез из воды и, прислушиваясь к жалобным стонам утки, стал одеваться. Позади зашелестела мать-и-мачеха; он оглянулся — перед ним стоял Арсен.

— Пришел, Николай Трофимыч, — сказал парень.

— Вижу, — рассмеялся Николай.

— Да не я, а этот ну, пресвитер, что ли.

— Пресвитер? — переспросил Николай, чувствуя, как не то подпрыгнуло, не то упало сердце. — Откуда это видно?

— Он не блоха, чтобы без огня не видеть: орясина с леда Демидыча, в пальто, шляпа в лапе, баульчик в другой, космы.

— А, ну так, так, давай, давай!..

— Шагает вот таким манером, — парень потоптался на месте, и Николай по звуку понял, что пресвитер шел не спеша. — Шагает, идиот несчастный, и сморкается почему-то. Сижу я в бузине и сочиняю частушки про нашу электростанцию, а он как фурыгнет в кулак, аж в ушах созвездие. Ничего себе, думаю, культура — и за ним. Он в окно, видно, когтем постучал и молитву отслужил. Потом на крыльцо выплывает кума Прохоровна да на колени и в ноги ему — бах! «Братец», слышь, — а сама опять в ноги; но тут они ушли, а я — сюда!

— Все?

— Так точно... никак нет, товарищ колхозный полевод, с вас беломорку!

— Нету, Арсен, честное слово, сам бы покурил.

— Я слетаю, тряхну дядю Трошу, а?

— Ну самосадка и у меня есть.

— «Пришел, — думал Николай, нащупывая в кармане баночку с табаком. — А это, пожалуй, он. Пальто, шляпа, баульчик, а не зипун, шапка и котомка. Да и Минодора перед простым странником на колени не падет. Жаль, но что-нибудь надумаем».

— Эх, и заборист табачок! — вполголоса воскликнул парень, внюхиваясь в крошево самосада. — Бумажку газетную вам, Николай Трофимович, или повежливее имеется? Я докуриваю очерк «Как вешали гестаповцев в Харькове», силен документ!

— Давай и мне с очерком, — сказал Николай, присаживаясь на бережок. — Еще какие новости, Арсен?

— Новость одна: имею агрессию супротив Капитолины Устюговой, решаюсь мобилизовать ее на мельничный фронт. Она специальная крупорушница, да и на охране плотины нам вдвоем с мамой не особенно весело!..

— Что ж, стоящее дело, поговори с Роговым.

После встречи с Капитолиной в глазах Арсена как-то невольно поблекли все узарские красавицы. Девушка привлекала парня не столько своей внешностью, сколько необыкновенным прошлым — кто знает, не удастся ли азинскому селькору написать с ее слов рассказик.

Но на Капитолину имел виды не один Арсен: девушка не выходила из поля зрения ни самой странноприимницы, ни старой проповедницы, не забывал о ней и Калистрат.

Под действием винных паров и от настойчивого подзуживания Минодоры Калистрат, казалось, утрачивал здравый рассудок. Немытый, нечесаный, босой, одна штанина короче другой, в расстегнутой и неподпоясанной рубаше бродил он по дому, по двору и угрюмо мычал одному ему известную не то песню, не то молитву. Встречая Капитолину, он замолкал, провожал ее отупевшим взглядом, а когда девушка исчезала, качал головой, вздыхал и брел к себе в келью.

Окрыленная общением с колхозниками, девушка решила либо перетянуть Калистрата на свою сторону, чтобы лишить Минодору возможной защиты, либо хотя бы вы-

красть из-под его топчана ужасающий ее топор. Выждав, когда Минодора отправилась на работу, Прохор Петрович уселся за «святые» письма, а Платонида со странницами и Варёнкой принялись готовить верхние покои к приему пресвитера, Капитолина легонько, чтобы не разбудить Гурья, поскреблась в дверь кельи Калистрата.

Тот ответил «аминем», и девушка вошла.

Страдая от вчерашнего перепоя, Калистрат лежал на топчане. Увидев Капитолину, он вскочил, что-то невнятно промычал и не особенно послушными руками разгладил жесткую подстилку на своем топчане.

— Разрешите к вам присесть, Калистрат Мосеич, — попросила девушка уважительно и степенно.

— Завсегда с нашим почтеньицем, — ответил он, заметно просветлевая лицом, и снова, теперь с подчеркнутой ласковостью, похлопал по топчану ладонью: — Будьте при местичке, только извиняйте: хмельным от нас того-этого...

— Не пили бы вы, Калистрат Мосеич, — проговорила она, усаживаясь все-таки поближе к выходу.

— Так оно, конечно, дело... Покудов не видим — не потребляем, навроде бы и охотки нету, а как только того, так и сызнава того... Прямо сказать: ежели не дразнят, так и без хмельного терпится!

От природы неразговорчивый и до смешного неловкий на слова, Калистрат проговорил все это с очевидной охотой, причем голос его показался сегодня Капитолине каким-то уж очень нежным. Капитолине это понравилось, и в ней шевельнулось всегдашнее озорство: она опустилась на подушку локтями, подбородок — на кулаки, и, глядя на Калистрата снизу вверх, вкрадчиво спросила:

— Калистрат, ты вот в сию минуту про что думаешь?

— А так... про жисть, про баб еще....

Капитолина тотчас распрямилась.

— Я думала, что ты лучше, — резко произнесла она, опираясь на подушку. — А ты оказываешься... факт налицо! Про баб помнишь, а про военкомат забыл!

Калистрат стушевался, перестал улыбаться.

— Про баб-то мы, слышь мол, страшенно подвижный народ, — проговорил он, подавшись лицом к Капитолине и для большей выразительности до шепота прижимая голос: — Примерно как Минодорья... А про военный райкомат сильно думавши!

— Думал?!

— После того разу, как с вами потолковавши, бесперечь кажинный день.

Капитолина пододвинулась ближе.

— А на что решился? — прошептала она.

— Покудов только одно вырешается, — полушепотом ответил он, — крадучи бы на фронт-от уехать, мимо райкомата. Залезти под вагон либо сверху к трубе привязаться — и айда до самой до битвы. А тамо заявиться к самому главному и давай, мол, ружье.

Капитолина прыснула со смеху.

— Чудак Гаврило смолено рыло, — все-таки серьезно сказала она. — Как ты неученый стрелять-то станешь?

— А мы спервоначалу другим концом, — не сморгнув глазом объяснил Калистрат. — Как молотилой... Потом сутки за две либо за три и стрелять ребята научут!

По тому, как блестели его конопатые глаза, Капитолина поняла, что мужик говорит искренне; однако, не зная, как возразить против его сумасбродной, но, по-видимому, твердо решенной затеи, перевела разговор на другое:

— А как бы ты с Гурием — он ведь созлый дезертир?

Калистрат сурово запыхтел.

— Я вот свяжу его, как кутя, кляп ему в глотку да в омут, — прохрипел он, встряхнув кулаками. — Они с Минодорьей злодейство удумали супротив тебя да меня. Ихний потайной разговор я учул, тогда и решился... Пудовую гирию в погребу возьму, за шею Гурьке-то — да понижай плотины в тартарары!

Капитолина едва отлепила язык от гортани.

— Когда, Калистрат? — спросила она, помолчав.

— Завтра ночью на разъезд побегу и его с собой, — шепнул он просто, затем предупредил: — Никому не сказывай!

Девушка энергично потрясла головой.

Она ушла твердо уверенная, что Калистрат надежен; но вечером того же дня мужик снова заплыл в расставленные Минодороду сети. Выпроводив сестринство на подзвездные работы, Платонида тотчас отослала Калистрата к матери-странноприимице для «тайной вечери», а он не прочь был опохмелиться. Как и в прошлые разы, быстро spoив угарной настойкой и раздражив мужика притворными ласками, Минодора сама проводила его в обитель. Ополоумевший, он потянулся все-таки в свое жилье. Странноприимица распахнула перед ним дверцу Капито-

лининой кельи, схватила его за рукав и втащила вовнутрь.

— Привыкай, теля, к новому стойлу! — засмеялась она, толкнула Калистрата на топчанок и заговорила вкрадчиво: — Да ты приляжь, приляжь, вот сюда, на подушечку... Тут, тут Капынька почивает, добра молодца поджидает... Дверца не скрипнет, кровать не звякнет, соседешек дома нету. А крикнет, так руки-то на что бог дал?.. Заступы не окажется... Да ты приляжь, приляжь вот так, дурачок!..

Калистрат зарычал, скребя ногтями соломенную подушку, топчан заскрипел под ним, будто разваливаясь на части. Минодора вышла из кельи и тотчас постучалась в дверцу к Гурию.

Неонилу пробрал ужас.

Будучи на подзвездной работе — они втроем чистили колодец, — старая странница вошла в подвал переобуться за минутку до прихода туда Минодоры с пьяным Калистратом. Невольно выслушав через стенку подстрекательские речи странноприимщицы, она без труда поняла, какая западня готовится для молодой девушки. Но, войдя во двор, ни словом не обмолвилась об услышанном даже со своей неизменной спутницей Агапитой и только спросила, сколько ведер грязи вынуто из колодца.

— Двадцать осмье, — ответила Агапита; она склонилась над колодцем и прокричала вниз: — Давай, давай, девушка, пошевеливайся!.. Еще двадцать два ведра до урока осталось!

Но Капитолины в колодце уже не было. Пока Неонила ходила в подвал, Агапита вытащила окоченевшую в ледяной жиже девушку на поверхность и отослала ее на реку. Капитолина выкупалась, прополоскала свое пропитавшееся колодезной грязью платье, напялила его на себя и было отправилась к камню за письмом Арсена, но вдруг увидела парня сидящим в бузине.

Арсен явился только что и, помня уговор с девушкой о встрече, до боли в переносье вглядывался в громадный валун около Минодориной бани. Он намеревался встать перед Капитолиной нежданно-негаданно, чтобы доказать девушке свою удаль, — парень скорее позволил бы бороде на носу вырасти, чем пропустить такой момент. Капитолина лисой подкралась к нему с другой стороны, неслышно просунула руку меж кустов и крепко сжала в пальцах Арсеново ухо.

— Эх, сони-засони! — громко прошептала она, и даже в шепоте парню послышался крик укоризны. — Как не стыдно: пришли за делом и разлеглись, ровно наша директорша на кушетке!

— Тебя же... глядел, — промямлил Арсен, поднимаясь и кубанкой стряхивая пыль с своих галифе.

— Сквозь сон глядели, факт налицо!.. Слушайте, когда запоют петухи... Как запоют, так и наш пресвитер явится, либо раньше.

— Дальше?..

— А дальше Гурий оклемался и всю зорнюю на стуле отсидел. Дальше я у Калистрата на пожарный случай топор украла и в садике зарыла.

— Ух и молодец! — выдохнул он и схватил ее за руку.

— Нет, за руки браться фиг! — отстранилась она и высвободила руку, однако тут же рассмеялась, блеснув зубами: — Испужаете — с Калистратом на фронт порхну, вот вам и крупорушница... Вон меня Агапита зовет, пока!

Девушка убежала во тьму двора.

— Вот те и нос с бородой! — прошептал Арсен себе. — А милая, ох, ну и милая же заразочка, черт побери, страсть уважаю недотрог!

В обители странниц встретила Платонида.

В синем сатиновом хитоне, подпоясанная черным кушаком с белыми, как черви, буквами молитвы на нем, в темной парчевой шали, с только что подкрашенным охрою посохом проповедница выглядела и празднично и строго.

— Возлюбленные сестры во Христе! — начала она, буря послушниц своим огненным взглядом. — Како явление спасителя ждем мы сына его, нашего отца и брата пресвитера. Сердца наши радуются, уста славословят, помыслы исполнены щедрот. Мать во странноприимстве Минодора за усердие в святом послушании возблагодаряет вас. Тебя, сестра Агапита, платом на главу и кофтою. Тебя, сестра Неонила, ботиками и чулками тож. Тебе, Капитолина, даруется новая келья...

«Гроб», — в душе усмехнулась Капитолина, но сердце сжалось, будто встала она перед разверзшейся бездной.

— ... с воздушными и светом вседневным, — договорила Платонида, ткнув посохом в дверь кельи Калистрата. — Негоже-де отроковице во мраке хиреть... От моих трудов и во благословение дарую вам по святой лестовице, во имя отца и сына!

— Аминь, — сказали послушницы и низко поклонились.

Для Неонилы и Агапиты подобные милости не были новостью. Перед появлением пресвитера странноприимцы и проповедники любой обители оделяли странников каким-либо пустяком из своих обносков. Но щедрость к Капитолине поразила женщин: наилучшей кельей по обычаю отмечались заслуженные старцы и старицы, и вдруг канонизированная традиция общины грубо нарушалась, «светлое» жилье получила некрещеная девушка, еще не так давно наказанная и затвором, и голодным постом, и побоями. «Неужели этим приручить хотят?» — подумала Агапита, а Неонила скорбно покачала головой.

— Водворяйся, дево, — как будто и ласково, однако же настойчиво распорядилась Платонида. — Святовонными корнями покури, чистую наволочку сестра Агапита выдаст. Памятуйте, рабы, утреннюю зорницу сам брат пресвитер возносит с песнопениями и лобызанием его святого наперстника тож.

Обдав всех запахом ладана, проповедница двинулась мимо странниц и заковыляла вверх по лестнице.

Капитолина не знала, на что решиться: водворяться или не водворяться, — а вдруг либо тем, либо другим повредишь начатому делу?.. Но заглянула в свою келью, увидела спящего там Калистрата и волей-неволей получила свежую подушечную наволочку и благовонные коренья — все, что полагалось страннику при вселении в новую келью.

— Не тужи, девка, помалкивай, — шепнула ей Агапита, помогавшая при окуливании. — Теперь, чуешь, не долго уж. Они чего-то мудруют, только бы на свои бока!

Эту идею Минодоре подсказал Гурий; замысел был прост: приглушить злость и настороженность девушки лаской и доверием; потом, учитывая, что Калистрат может не пойти в келью Капитолины и не совершить преступления, поменять их кельями; затем подпойть Калистрата, вызвать старших странниц наверх и спровадить мужика вниз. По старой памяти он непременно прорвется в свою келью, увидит спящую там девушку и не выдержит. Если умертвит — он вечный раб общины, если обесчестит — рабами станут оба: куда им, преступнику и опозоренной, деваться, кроме неизвестного странствия?.. Но разговор Гурия со странноприимцей случайно подслушал Калистрат.

Х. ТАКОВ БРАТ КОНОН

Условный стук в стекло окошка застал странноприимицу и проповедницу в большой комнате перед столом, обильно уставленным к приему владыки общины всевозможной снедью. На полочке близ занавешенного окна, примощенная на опрокинутый стакан, еле теплилась сальная «мизюкалка»; зато в углу перед иконами потрескивали свечи и лампы различных цветов и пламенностей. Глядя с улицы из-под горы, никто бы не подумал, что в полусумраке Минодориного дома готовится столь торжественное пиршество.

Если завзятая богохульница Минодора встретила пресвитера у крыльца и, стоя на коленях, чмокнула губами его наперстный крест (зато он чмокнул ее в темных сенях), то страстная ревнительница древлего благочестия Платонида ни шагу не ступила навстречу «заместителю Христа на земле». К немалому удивлению и неудовольствию Минодоры и, особенно, Прохора Петровича проповедница вдруг повела себя так, словно она главенствовала над пресвитером, а не он над нею.

Платонида стояла возле стола, выпрямившись, насколько позволяло ее кособочие, стиснув безгубый рот, и точно брызнула в вошедшего высокого мужчину мерцающим бисером из черных глазниц, но не пошевелилась. Он приблизился к ней, скрестив толстопалые руки на груди, степенно и низко склонил густоволосую полуседую голову и, помолитвовавшись тихим, не своим голосом, коснулся усами крестовидного набалдашника на ее посошке.

— Аминь, брат Конон, — строго произнесла она и только потом, поклонившись ему, не попросила, а, казалось, потребовала: — Благослови к лобзанию твоего пречистого наперстника*.

Из всей здешней обители, наверное, один Гурий не поцеловал бы это массивное, точно обруч, золотое кольцо с сапфировым крестом. Сенотрусовец видывал, что Конон лишь перед церемониями надевал наперстник, вынимая его из потайного кармана, пришитого к подштанникам, где пресвитер хранил свои драгоценности.

Молодым семинаристом Кондрат Кононович Синайский добровольно ушел в полковые священники войск ба-

* Пресвитеры скрытников носят крест не на груди, а на пальце, персте.

рона Врангеля, потом эмигрировал, учился в «русской коллегии» князя Волконского при Ватикане, а во время голода в Поволжье был переброшен с группой папских агентов в Россию в качестве «посланца милосердия на помощь голодающим». При разгроме этой шпионской группы органами советской разведки Кондрату Синайскому удалось бежать. Он устроился дьяконом в глухое уральское село — на родине Агапиты, — но за злостную антисоветскую агитацию среди прихожан был арестован и осужден. После отбытия наказания Синайский негласно вернулся в то же село, однако с иными целями: чтобы наверняка уйти из-под контроля Ватикана, а заодно и спрятаться в тень от советских органов, он решил связать свою судьбу с общиной истинноправославных христиан странствующих; и это ему удалось. Старинный его приятель, родной дядя Агапиты, странноприимец Лука Полиектов связал бывшего дьякона с протопресвитером общины, братом Платониды, старцем Антипой Пресветлым, тот окрестил Синайского и под именем Конона назначил пресвитером Западного Урала. Здесь, на соборе старцев и стариц, из рук местоблюстительницы пресвитера проповедницы Платониды новый владыка и получил знак своей неограниченной пресвитерской власти — золотой наперстный крест.

После Платониды к кольцу присосался Коровин.

— Святитель! — поддельно хлюпая носом и вытирая сухие глаза заранее припасенной тряпкой, юлил бывший писарь. — Не обойди молитвами-с....

— Ну, ин, батюшка, поведай, где бродишь? — начала Платонида, усаживаясь за столом напротив Конона. — Ни гласа ни власа от тебя с самого рождества.

— По свету, мать Платонида, тамо и сямо, — в тон ей ответил Конон, с откровенной веселостью щерясь широченным острозубым ртом. Размашисто перекрестив кушанья, он подоткнул за воротник коричневой толстовки клетчатый платок — салфеток у Минодоры не водилось — и потянулся к рюмке с настойкой. Выпил бережно, точно пустынный, знающий цену капельке влаги, повел рукой вдоль впалого живота, потянулся за груздем и только тогда договорил: — Н-да, по свету... Время ныне смутное, спокойствия лишен, ибо воистину пекусь о богоданной общине, мать Платонида.

Он выпил вторую рюмку, закусил печенкой, и Прохор Петрович, не мешкая, налил ему третью.

Платонида покосилась на старика, но, взглянув в одутловатое, вдруг расцветшее благодушием лицо пресвитера, грызущего куриную ножку, смиростивилась. «Пускай приемлет, поелику взакалось, — подумала она, размыслив. — Сие не возбранно, Христос простит, а я мешать не стану. Пастырь добрый, не обуян гордыней, не любоначален. Преклонился предо мною, посох мой облобызал, матерью, а не сестрою величает — все ли тако? Зрю, помнит, от кого пресвитерский наперстник получил, чует, на коих столпах вера зиждется».

Не нравилась торопливость отца и Минодоре, но, видя податливость гостя и снисходительность к нему Платониды, чей авторитет сразу вырос в глазах странноприимницы, она лишь заботилась, чтобы тарелка Конона не пустовала. «Пушай жрет и хлещет водку, лишь бы наше не пропало, — мысленно злорадствовала она. — А поговорить успеем, не завтра же его черт унесет».

С благоговением угощал пресвитера старик Коровин. Он аккуратно наполнял рюмку вровень с позолоченным венчиком, брал ее за хрупкую ножку, вздымал над столом и медленно, как святыню, ставил перед гостем. Для бывшего писаря пресвитер общины стоил полусотни исправников — шутка в деле властвовать над обителями двух бывших губерний, пусть с двумя десятками странников!.. Конон в его понятии был полу-Христом; а кому не лестно сидеть рядом с восседающим полубогом, заглядывать грешными глазами в его очи и возливать вино в его чашу своей рукой? Не беда, что полубог знал, как эта рука краля и предавала, подделывала и поджигала, подложничала и истязала. Зато и Прохор Петрович многого не замечал; например, того, как быстро охмелевший святитель назвал город Назарет лазаретом, а гору Голгофу какой-то Глафирой; старик просто налил оскандалившемуся пресвитеру очередную рюмку. Либо для того чтобы разом заглушить горечь своей богохульной оговорки, либо потому что он с нетерпением ждал именно вот этой самой рюмки, но Конон проглотил вино с алчностью, удивившей даже старого писаря. Потом, будто позабыв ветхий завет с его речениями, пресвитер заговорил о земных делах почти земными словами.

— В оных палестинах, честнейший брат Прохор, я, э, в обетованном раю, — изменившимся, напряженным языком начал он. Размокший голос его на каждом слоге под-

прыгивал с баса на баритон, с баритона на тенор и представлялся Прохору Петровичу неотразимо благостным и сладкозвучным.

— Ответствуй мне, друже, имеет право окружный, э, пресвитер воздохнуть от труды праведны, от муки адовы? Дозволено ему в бес-тре-пет-ном спокойствии ночь опочить?.. Мать Платонида, сестра Минодора, я — не камень. Из камня имя носящий, я только телесен, аки людь. И не единый крест несу, э, в богохранимой общине, но сдвоенный. Двойной, ибо не приемлю небесного без земного, ибо химерна вера без борьбы, как борьба бесплодна без веры. Я же — борец и ревнитель веры со юности моя и до.... до...

Пресвитер запнулся, очевидно, подыскивая слово, но Прохор Петрович подоспел с вином — и Конон будто высосал из рюмки злобную фразу:

— ... до краха врагов моих!

Он сорвал с груди свой клетчатый платок, скомкал его в кулаке и швырнул на стол перед собою. Платонида торопливо перекрестилась, потом, сверкая глазами от божницы к Конону и от Конона к божнице, затеребила стеклянные бусины лестовки. Глядя на проповедницу, встрепенулась и Минодора: выбрав с блюда самого икряного леща, она с поклоном положила его на тарелку гостя. Умиленный Прохор Петрович решил заплакать: он сморщился, будто норовя чихнуть, но, крутя головой и всхлипывая, все-таки наполнил рюмку пресвитера аккуратно до позолоченного венчика.

Гость покончил с нею без закуски.

— И клятву оную блюду паки и паки! — подняв палец, с пафосом прошептал он. — Токмо усторожливо и благопристойно. Осторожность, нежнейший брат Прохор, суть порождение мудрости. Англия, Америка, их действо — божественная мудрость!.. Не второй фронт, а свиная тушонка и яичные пороха, затхлая крупчатка и грязное тряпье на подстилку — нате, жрите, жирейте, а потом мы вас к закланию... мудрость!

Изловчившись, Прохор Петрович чмокнул руку Конона на лету; речи гостя были приятны убежденному старорежимцу до пощипывания в носу — экое извитие словес! — и он едва совладел с собою, чтобы не выпить, как бывало, единую «за августейшего венценосца».

Пресвитер подобрал платок со стола, перекосившись, вытер поцелованную руку и тут же положил ее на плечо хозяина.

— На поле брани, херувимейший брат Прохор, сугубый спор, — все более костенеющим языком продолжал он. — И мы тамо, и тоже спорим, токмо тссс!.. Душою и помыслом суть тамо, э, существом же и естеством здесь, — но спорим!.. С кем? С ворогом нашим, именуемом коммунизм, токмо тссс!.. Единым словом Христа оружны и поражаем, ибо меч наш — мудрость!.. Дерзай, брат Прохор: где потребно — согни выю, главу преклони, но спорь! В словесах будь сладчайшим, как кенарь в саде, а ко-готок, х-хе... Мудрость!.. Коготок твой — слово писаное и рекомое, апостольское и человеческое, и спорь!.. Искуснейшая в словесах письменных и звучных мать Платонида, э, пример сей мудрости... Послания святых пророков суть меч ее, и я благословляю сие отныне и довеку: пишите, э, множьте, яко дождь, несите в мир послания сии и спорьте, токмо тссс, тссс!

Минодора глядела в широченный рот Конона и думала: «Пьян, пьян, скотина, а далеко видит и учит правильно. Расскажу-ка я ему завтра про хуторских прогульщиков да про Никониху с Оксиньей, то-то рад будет, пучеглазый бес!.. А все из моей обители, по моей указке, хоть и хвалит он за письма одну Платонидку».

Поучений пресвитера о христианской мудрости хватило до очередной рюмки. Конон выплеснул ее в рот и смиренно попросил еще. Затем, на шаривая ногами под столом ноги странноприимницы, пресвитер потянулся к ней лицом и, распылив губы до ушей, что он выдавал за улыбку, неожиданно твердо промолвил:

— А здесь я во благоволении. Э, предо мною рыбьи и птичьи телеса, вино и млеко... И сия трапеза благословенна. Мнится, что нет большевиков в Узаре моем!

— Найдутся, поди-кось, — не отняв зажатой ноги, сказала Минодора. — Колхозники ныне те же....

— Колхозники мразь!.. Тлен!.. Суть безбожие, и я... я... про...э-э, проклина-ю-у!

Голос Конона пророкотал в иконостасе медниц, рачьи глаза его налились кровью, протянутая к божнице рука пресвитера казалась дубовыми вилами, устремленными в чье-то горло. Но вот пальцы Конона сомкнулись, сжа-

лись в кулак, и рука с дребезгом упала на стол, круша посуду и закуски:

— Проклинаю!..

— Аминь! — выкрикнула Платонида больше для того, чтобы предупредить закипевшее буйство пресвитера.

Минодора же тотчас налила рюмку и поднесла теперь сама. Будто клюя руку Конона носом, Прохор Петрович опять принялся целовать наперстный крест: подобных умилительных слов ему не приходилось слыживать даже за этим столом. Конон же раскис, как будто последняя вспышка гнева оказалась намного сильнее всей выпитой водки. Елозя бородой по тарелке и пуча глаза попеременно то на Минодору, то на Платониду, пресвитер уже не говорил, но шипел.

— И сим п-победиш-ши... Тссс.. И с-спорю... Тссс....

Он икнул и уронил голову на леща.

Некоторое время за столом царила выжидательная тишина. Наконец Платонида перекрестила Конона и повелительно махнула рукой. Минодора и ее отец взяли пресвитера под мышки, волоком утащили в горницу и уложили на кровать.

— Ослабел наш ясен сокол, — вернувшись, притворно вздохнула Минодора, а про себя подумала: «С вечера резвился, к ночи взбесился!»

— Христос благословит взалкавшего во истине, — произнесла Платонида и, словно ковырнув Минодору взглядом, добавила: — Но не простит солгавшему по ереси, говорит евангелист Фома. До седовласия пророк Исайя в вертепах блудницами услаждался, зато был в вере неколебен. Конон же в алкании лют, зато в разуме светел: вон как он о святых-то посланиях... Тако и будем — в них наша сила!.. Спасет Христос, матушка, почивать пойду.

Пока хозяева убирали со стола, рассветало.

— Дорушка, может, не пойдешь на работу для святого дня-с? — осведомился Прохор Петрович, будучи еще под чарами прошедшей ночи.

— Под суд спихнуть захотел?.. У нашего деревяшки не заржавеет!.. Варёнка корову подоит, так заставь дуру баню помыть. Запросит святитель-от твой. Вшей, поди, в гриве-то накопил, таскается везде, как Платонидкин Исайка... До меня его не буди, пускай дрыхнет.

Она хотела говорить с Кононом прежде других.

— Запрети тревожить и этим крысам, — странноприимица показала на душник. — Да гляди за воротами!

— Будет в аккурате-с.

Взяв свою папку с бумагами, Минодора ушла.

Петухи, будто состязаясь с пастушьим рожком, допевали свои утренние песни, а заботливые куры, выныривая из подворотен, уже ворошили на дороге слежавшуюся за ночь пыль. Вдоль заборов, пощипывая едва проклюнувшуюся травку, разгуливали пригнанные к пастуху корсвы, а вблизи от матерей табунились телята — несмышлениши сладко потягивались на жиденьких ножках, обнюхивались и мирно лизали друг друга. В закутке между пожарным сараем и амбаром гуртовались овцы; они неумолчно топали копытцами о каменистый грунт и, как простуженные, по-старушечьи чихали и кашляли.

Пахло пылью, навозом и парным молоком.

Минодора шла, то и дело прикладывая к носу наодеколоненный платочек, и думала о переезде в город. Теперешний визит Конона она собиралась использовать куда шире, чем намечала раньше. «Будя, нанюхалась тут всякого, — размышляла странноприимица, норовя обойти стадо стороной и чувствуя, как пышет кровь от нахлынувших мыслей. — Надрожалась, ровно овечий хвост, пора барыней пожить. Черт с ним, дамся я ему, пучеглазому идолу, пускай утешится. Только чур, любишь в сенках целоваться — люби платить. Перво-наперво дом в городе, да с балкончиком, и чтобы нужник в теплоте, и мебель наотличку, и коврики. Потом самолучших людей из обители мне. Платониду оставить: золото в беличьей шубе зашито, тыщи в чулках да в ладанках напиханы — не отпущу!.. Калистрат синешарую кокнет, так утопит и косозадую, никуда он не денется, будет ишачить, покуда не подохну. У Конона одно колечко тысячи стоит, а золота да сотенных возом вежи — знаю, как нас обирал, — начисто выпотрошу!.. Потом... потом стравлю их с Калистратом, как двух кобелей, да подмогну мужику, как когда-то фельдфебелю. Никто не хватится: оба с Платонидкой беспаспортные. Гурьку с Неонилкой — долой, голяки и дармоеды. Агапитку себе оставлю, безответная. А община — овчина, остригу догола да к черту выброшу, с паршивой овечки хоть шерстки клоч!»

Так и не подавив одолевающей улыбки, Минодора свернула к складу с намерением как можно быстрее отде-

латься здесь и помчаться домой — ковать железо, пока горячо.

Навстречу Минодоре из правления колхоза вышел сторож. Позевывая и жмурясь от раннего солнца, как арбуз лысый, старик прилепил на доску объявлений серую бумажку, пригладил ее ладонью и обернулся к подошедшей кладовщице.

— Про детсад совещание, — объяснил он, напустив на себя строгость, — про питание в нем.

Минодора прочла объявление и выругалась; нет, она не боялась за дела по снабжению детского садика, в них все обстояло по-коровински аккуратно; ее обескуражило то, что придется весь день готовиться к докладу, и то, что совещание созывалось вечером. «Эх, и разнесут же меня Платонидка с Гурькой перед Кононом, — злобно срывая пломбы с двери и окна кладовой, думала она. — Весь день одни, да и вечером тоже. Такого наврут, что он и видеть меня не схочет».

Но в доме пока что все было спокойно.

Прохор Петрович проводил подоенную Варёнкой корову в стадо и распорядился не просто помыть, как приказала дочь, но и поскоблить внутри бани косарем и протереть песочком — дурочке привалило работы до глубокой ночи. Затем, чтобы надежно оградить пресвитера от беспокойства, старик закрыл на замки внутреннюю дверь из горницы на лестницу, тайный выход из обители через курятник и, наконец, главный выход с крыльца. Трижды перекрестив дом снаружи, Прохор Петрович отправился на свой «псиный пост» — за ворота. Но для Капитолины нашлась лазейка из наглухо запечатанного логова через незарешеченное окно подаренной ей Калистратовой кельи. Зная, что Варёнка трудится в бане и подглядывать некому, девушка вылезла в садик, сходила к условленному камню и принесла записку Арсена. Парень писал: «Сегодня вечером мы придем». Капитолина расхохоталась бы над «вечером» тут же у камня, но, вспомнив, что всего лишь через несколько часов она станет по-настоящему свободной, сдержалась. Волнение девушки было столь велико, что она в несколько прыжков перебежала садик, будто впорхнула в окно кельи и впервые по-мирскому обняла Агапиту.

— Сегодня вечером, — с жаром прошептала она.

Агапита вздрогнула и перекрестилась.

— Настал мой день, — едва слышно молвила странница и сунула в рот уголок своего платка.

Агапита не ответила бы, почему именно в этот заветный час ей вспомнился вечер, когда она поддалась увещаниям Платониды. Но он припомнился настолько ярко и так осязаемо живо, что она, пожалуй, впервые заглянула в себя с любопытством ребенка, заглядывающего вовнутрь новой игрушки. Почему все это случилось, что произошло? Наваждение, волшебство или, быть может, вера в бога? Да, веровать без оглядки дочь строгих старообрядцев была приучена с колыбели; однако за последние годы она стала забывать молитвы и частенько даже в субботние вечера подпевала Павлу его любимые песни. Неужели потому, что проповедница разбередила ее старые рубцы? Могло быть такое? Да, могло; именно после побоев она как-то невольно тянулась к своей иконке-меднице; но в этом ли главное?..

— Тетя Агапита, — перебила Капитолина неожиданные раздумья странницы. — Тетя Агапита, ой до чего же я рада, что к людям пойду!.. Так натосковалась одна да одна, так одичала, что сегодня услышала, как в деревне девчата про огонек поют, и собакой взывала!.. Теперь меня от людей стопудовыми клещами не отдерешь — подумать только, чуть не целый год без подруг, без товарищей!

Странница глянула в сверкающее улыбкою лицо девушки и на какое-то мгновение перестала дышать. «Чуть не год без подруг? — подумала она, чувствуя, что краснеет. — А я? Не всю ли жизнь прожила без товарок? С кем дружила, кроме слепенькой Параши? Скажу ли, как открывались ворота у моих соседок в селе и на хуторе? Назову ли хоть одно близкое мне женское имя, кроме Капитолины? С кем поделилась своими горестями, у кого попросила совета, прежде чем клясться на евангелии? Ошалела перед Платонидушкой, мол, не одна теперь, святая со мной, а сейчас: отчего да почему?.. Кляча забитая, вот что!»

— Так, так, Капочка, так, — сказала она с горячностью. — Люди, чуешь, люди, размилая ты моя, за людей держись!

— Книжки еще, тетя Агапита, факт налицо; учиться мне надо до одури... И мама твердила: учиться!

— Ой ты, ребенок ты ребено-о-ок! — тихонько рассмеялась Агапита и, ласково похлопывая ладонью по колену

девушки, заговорила: — Вот вылезем отсюда, чуешь, и вместе жить станем, подруг заведем, да побольше, да поумнее, тебе — молоденьких, мне — постарше. Лампу большую купим, керосину наберем, вечерянками ты читать станешь, я шорничать, слушать, про что читаешь, да на ус мотать.

— Петь еще станем да плясать; я плясать люблю!

Прыснув со смеху, они бросились друг к другу, обнялись вперекрест и, покачиваясь из стороны в сторону, зашептали чего-то непонятное, всяк свое. Разъединившись, обе тотчас отвернулись — одна к окну, другая к дверце кельи — и украдкой вытерли вдруг повлажневшие глаза.

— Тетя Агапита, мы в Азином колхозе останемся; я — на крупорушке, ты — шорником, да?

— Куда же еще, только бы вылезти.

— Вылезем, тетя Агапита; придут, разгрохают — и вылезем!

Капитолина так и представляла: ворвется толпа колхозников с топорами и разгромит всю обитель по бревнышку, — как же иначе может быть поступлено с каторгой, в которой они с Агапитой столько выстрадали?..

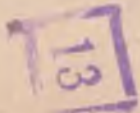
— Вот чем бы им еще помочь, Капочка?.. Про что же это я давеча думала?.. Написать бы... А-а, ну, ну, вспомнила, чуешь, про ячмень с горохом. Видела я, пудов восемь наворовано да муки чан, и незачем это Прохору оставлять, раз оно колхозное!

— Факт налицо... Потом про Варёнку: увести ее тоже в колхоз, в работе она никому не уступит, а, тетя Агапита?..

— И Неонилу можно, пусть поробит напоследок жизни... Пиши да неси, я покараулю.

Агапита вышла и села у открытой двери своей кельи, будто проветривая жилье, что она делала каждый день. Бодрствовал в своей келье один Гурий.

Встревоженный тем, что Конон не явился в условленный срок, Гурий был сильно обеспокоен и необычным беспорядком в обители: утренней зорницы не пели, странники не работали, все входы и выходы оказались закрытыми, и подвал напоминал тюрьму. Терзаемый неясными подозрениями, Гурий решился разбудить и обо всем расспросить проповедницу. Он прошел в келью Платониды, как больной, медленным шажком, но выскочил оттуда, против ожидания Агапиты, очень быстро. Побагровевший, он



с разбегу остановился посреди коридора, взметнул взгляд на светильник и, оттягивая бинт на шее, задумался.

Слова Платониды, что Конон пришел, пьян и спит, взбесили Гурия. Нетерпение вырваться из этого опостылевшего ему подвала, расправиться с узарским прудом и убежать в другую обитель раздирало его до боли в сердце. Чтобы ускорить развязку, оставалось одно: выбраться во двор через окно Калистратовой кельи, вызвать с улицы старика Коровина и заставить его разбудить пресвитера. По-петушиному вострепнувшись, Гурий подбежал к келье, занес руку, чтобы постучать в дверь, но в коридоре появилась Агапита.

— Брат Гурий, повремените, — собрав все свое спокойствие, предупредила она. — Девка там, почитай, нагишом, платишко свое опочинивает. Ежели вам брата Калистрата, так он теперь вот в этой келейке.

Проклиная Конона за пьянство, а себя за совет подарить келью девушке, растерявшийся от бешенства Гурий убежал к себе и грозно щелкнул внутренней задвижкой.

Конон же благодушествовал: не слыша здесь разговоров ни об Агафангеле, ни о Гурии, пресвитер был убежден, что его прыщеватый посланец уже сделал свое дело и надоевший ему сенотрусовец догнивает в земле.

Проснувшись под вечер, пресвитер опохмелился и закусил тем, что Прохор Петрович выставил на крышку своего гроба. Тут же на гробу лежала стопка писем «пророка». Конон взял одно, прочитал и нахмурился: послание дышало лютой ненавистью ко всему советскому, а Гитлер объявлялся посланцем неба; «пророк» предсказывал победу фашистам и призывал народ к неповиновению большевикам.

— Опять самодурство Гурия, — отшвырнув листок, пробормотал пресвитер. — Ни осторожности, ни такта... Очевидно, его предсмертная диктовка. Велеть сжечь; из-за такого недолго и мне оказаться на старой стезе!..

Он с опаской огляделся и закурил.

С месяц тому назад над головой Кондрата Синайского появилась зловещая тучка. Преданный ему телом и душой скрытник Агафангел принес из странствия «святое» письмо, точь-в-точь такое же, какие лежали теперь на гробу: пресвитер узнал почерк Коровина и догадался об авторе. Письмо это не давало покоя Конону: долго ли до греха — провалится Гурий сам и предаст своих покрови-

телей!.. Пораздумав и перемучившись от трусости, он решил одним ударом освободиться от своего старого друга. С этой же целью пресвитер нарядил в Узар того же Агафангела, приказав запугать Гурия обнаружением его следов, выманить из Узара якобы в другую обитель и по дороге предать его труп земле. Сейчас пресвитер явился проверить, удалась ли миссия Агафангела, и всласть нагоститься возле обожжаемой им красивой странноприимицы.

Минодора пришла домой на закате солнца.

Она весь день нервничала, а вернувшись на какой-нибудь час, была поражена хвастливым заявлением отца, что «святитель оберегается за тремя замками». Замки?.. Значит, обитель в заточении; выходит, она без пищи; значит, голодает и сам пресвитер?! Всячески понося старика, Минодора взбежала по ступеням крыльца, не постучав, порвалась в горницу и, со странной небрежностью кивнув Конону, скрылась на лестнице за иконостасом.

— Агапита! — гаркнула она. — Агапита, где еда для братии?!

— Взаперти сидим, матушка.

— Проклятая жизнь!..

Она рванулась назад и встретилась с Кононом.

— Батюшка! — взмолилась странноприимица. — Старик, все старик напутал...

— Чую, сестра, чую, минуется, — успокоил Конон, по-ощрительно дотронулся до ее плеча и вдруг осекся, увидев сенотрусовца. — Брат Гурий?!

Конон сразу забыл обо всем на свете.

Минодора ошалело суежилась вокруг пресвитера. Растрепанная, побелевшая, потная, она молила о прощении и то шептала, то выкрикивала, что обитель тотчас пообедает, что ему, святителю, обед уже готов. Конон соглашался, пятясь, приближался к Гурию, наконец вслед за ним пошел в молельню и хлопнул дверью перед самым носом странноприимицы.

— Убил, убил, чернильная крыса! — уходя наверх, бормотала Минодора. — Агапитка, иди открой все двери, вот ключи...

В молельне же сразу возник деловой разговор.

— Я ничего, э, не понимаю, Виталий Флавианович, — беспокойно пуча оловянные глаза, начал Конон, по-прежнему называя Гурилева именем и отчеством.

— Зажги паром свечей, — хрипя больным горлом, рас-

порядился Гурий и с важностью кардинала уселся на стул под неугасимою лампадой. Уже не в состоянии перебороть своей многолетней привычки коверкать родную речь, он заговорил так даже перед старым приятелем. — Я сам не понимаю, какой лешак ты не пришел ко мне подвалом вчера? Договаривался: вчера ночью придешь, когда поются петухи... Пришел, лешак, и давай гостить без меня, пировать без меня, потом давай спать!.. А я больной и дело у меня, лешак; восемь колхозов одним пруде, слушайте, восемь!..

Он горячо заговорил о мести и стал корить пресвитера поблажками врагам. Конон и смеялся над петушиным гонором приятеля, и побаивался бывшего сенотрусовца, как остерегаются знакомой, но чересчур злобной собаки. Помня, что Гурий вооружен, пресвитер пожалел, что оставил собственный наган в дорожном бауле, подумал и выбрал своей защитой поддельное дружелюбие и лесть — этому его учили в шпионской школе святой Терезы. Он смиренно признался: да, выпил один, полагая, что его бесценный друг уже не здесь; да, опьянел с двух рюмок потому, что был сильно утомлен дорогой и голоден; да, готов служить единственному приятелю верой и правдой и попросил прощения.

Гурий заметно пообмяк.

— Куда должно быть я? — спросил он однако сквозь зубы.

— А вы не получили моего уведомления? — с целью узнать что-либо об Агафангеле и заодно выиграть время спросил Конон.

— Нет, — выдохнул Гурий и впился глазами в лицо пресвитера: — Говоритесь!

— Сожалею, господин Гурилев, э-э, да, сожалею... С полмесяца назад я послал к вам брата Агафангела, чтобы перевести вас в более, э-э, да, да, более укромную обитель.

— А здесь, ах, страшно? — попробовал ощериться в улыбке Гурий.

— Покуда не ведаю, — ответил пресвитер и перешел на ложь: — В городе же объявления с вашими приметами, ищут... А я не могу подвергать опасности моего верного друга.

— Вот это лешак! — вскричал Гурий, вскочил, схватил руку Конона и что было силы затряс ее. — О, спасибо, спа-

сибо! Меня загнанный волк, а друг спасает, слушайте... Благодарю!..

Он еще раз встряхнул руку пресвитера, потом заговорил яростно и зло, будто выплевывая слова в свою рыжую бороденку:

— Ты страшно умный человек, господин Синайский!.. О, я ужасный полюбил тебя... Но зачем, слушайте, здесь чулок, носок, сетей, одеяло?.. Отличная придумка письмо пророков, ах, отличная придумка! Давай его тысячи, миллион, дождем, градом давай его, как дает баптистская секта!.. Вот секта, лешак, а?!.. Письмо ломай совет, ломай колхоз, люди ломай, а зачем сетей, чулок? Х-хо, лешак, старый крыса Платонида котел бы давить большевиков молитвом, а Минодора сетем да одеялом, тьфу, лешак!.. А Кондрат Синайский, слушайте, придумал три святой письмо и давай молчать!.. Какой глупый, лешак!..

Он привскочил, будто хотел кинуться на пресвитера с кулаками, потом снова шлепнулся на стул, стремительно вскинул голову и с той же яростью закончил:

— Дворяниномя приказываю, слушайте, убирать чертям старую Платониду, дать руки Калистрату, руки Неонилке, Агапитке... огонь, яд, маузер!..

Прокричав все это, Гурий опять вскинул голову, как бы требуя ответа. Конон утвердительно кивнул, однако подумал: «Что по-прежнему злобен на врагов — хорошо, но открыто пусть воюет с ними Гитлер. Наше дело помочь ему тайным словом, божьим страхом, карами неба. А этого надо убрать, слишком огненен, сожжет и себя, и нас. Жалко, что не сделал этого мой Агафангел, но где же он запропастился: засел ли в дальней дороге у какой-нибудь вдовы, прихворнул ли и отлеживается в попутной обители?» Помолчав сколько было нужно для того, чтобы не показаться неучтивым, пресвитер сказал:

— Вы бесконечно правы, Виталий Флавианович. Община, э, не на пути. Но, э-э, позвольте ли напомнить, что беспокоит меня в сей час?.. Пропал мой вестник к вам, пропал брат Агафангел... Во благополучии он должен был достигнуть Узара ранее меня, однако же его нет!

Гурий восторженно; он вспомнил рассказ Минодоры о задержанном позавчера дезертире, и, как мог, передал Конону скупые слова странноприимницы.

— Приметы задержанного не знаете ли?

— Приметы?.. Вот лешак, Минодора не говорил!

— Простите, я расспрошу, — глухо сказал Конон и вышел.

Спрошенная им старая проповедница рассказала все, что знала от Минодоры, и, перекрестившись, добавила:

— Хочу просить твоего благословения отстранствовать в закамскую обитель, брат Конон. Не благоуветливой стала обитель матери Минодоры, страховито в ней. Странниц с собой уведу, токмо деву-послушницу уготовили мы к святому успению. Зело много ведает и непостоянна, яко арфистка... Благослови на прибавление мучеников в раю, да чтоб не мешкотно.

— Аминь!.. Но Агафангел, мать Платонида?.. Он взят позавчера, и как могли вы молчать о сем за вечерней трапезой?!

В голосе пресвитера прозвучало явное раздражение, выпуклые глаза его сверкнули нетерпением и злостью.

— А кто, брат Конон, неумоимо расточал слова за столом, кроме токмо пресвитера? — огрызнулась Платонида, встретив его взгляд не менее злобным взглядом. — Рабы немые, егда глаголет господин их, говорит Екклесиаст главою...

Не дослушав, Конон встал и вышел вон.

В горнице Коровина пресвитер задержался еще меньше. Косясь на окно, озаренное последним лучом заката, и жужжа себе под нос какое-то песнопение, он порылся в своем баульчике. Привыкший к подглядываниям Прохор Петрович заметил, как обожаемый им полубог спрятал спереди под толстовку большой черный револьвер.

Конон же снова скрылся в молельне.

Гурий шагал там из угла в угол, огоньки светильников колебались, точно от порывов ветерка, по стене металась лохматая тень. Конон с минуту стоял, наблюдая, потом кашлянул, и Гурий остановился.

— Ну? — спросил он, вперяя свой петушиный взгляд в побагровевшее лицо пресвитера.

— Агафангел погиб для нас, господин Гурилев, — сказал Конон. — Страшусь предательства и полагаю во благовремени удалиться. Даже Платонида обуяна, э-э, сомнением и завтра выводит сестринство в другую обитель.

— Х-ха, лешак, корабль давай на дно, старый крыска — берегом! Вот лешак так лешак!.. Ладно, слушайте, я много думовал и решился делать красивый дело!..

Гурий в десяти словах сказал о пруде.

Конон не выказал ни отрицания, ни колебания: ему было не до пруда; его подмывало тотчас вскочить и бежать, не заходя даже наверх, но решение навсегда избавиться от своего слишком строптивого друга удерживало пресвитера в молельне. Надо было подумать, как это сделать.

XI. КРОВЬ НА ТРОПЕ

Николай спал и над чем-то смеялся.

— Коленька, ты так хохочешь, что мороз по коже, — разбудила его Лизавета.

— Приехали?..

— Кто?.. А-а.. Не знаю, только-только пришла, на плотине работали полубригадой. Рогов с электростанцией торопит — охота ему к зиме свет дать, ну и мы тоже... Ты вставай, Коленька, поешь, да я прибираться стану.

В единственное на запад окно избы, казалось, с яростью вламывался розовый луч заходящего солнца. На крашеной желтой лавке черными шариками перекатывались мухи. Старинные, в аршин шириною, половицы белели, точно свежевystруганные, а в еле заметных щелях между ними мышинными глазками проблескивали песчинки, осевшие там после недавнего мытья пола.

— Не понимаю, чего тебе прибирать, — проговорил Николай, подходя к умывальнику. — Вон мух следовало бы выгнать.

— Вытурю и мух, и проветрю, и пыль соберу на вехотку, — весело ответила Лизавета, собирая на стол. — Не могу же я, Коленька, привести девчат в неприбранный дом; они и без того намаялись в грязном подвале.

— Все-таки пойдешь, приведешь?

— С Арсеном договорились.

— Я бы и сам мог привести.

— Коленька, не обижай меня, как вчера, не надо... Понимаешь ты, что с тобой они могут не пойти, постесняются... Садись ужинай.

— Знаешь, Лизута, ты мне сегодня шибко нравишься, — шутливо сказал он, принимаясь за жареного кролика.

— Ой, шибче, чем вчера?!

— Да... Смеешься, подмурлыкиваешь?..

— Сказать почему? Ладно, назавтра приберегала, да распирает всю. Рогов мне письмо показал из райкома, на курсы избачей меня посылают.

— О-о-о! Это Андрей Андреич постарался.

— В область на три месяца... Отпустишь?

— Сам свезу... У нас с Фролахой тоже задание от Рогова — закупить арматуру для электро и радио, ого?!

— Вот как наши!.. А я рада, что бабочки кстати пришли: похозяйничают, да, Коля?

— Чего лучше, если так!

Прямо из-за стола Николай отправился в правление колхоза: нужно было узнать, приехал ли милиционер, и если да, договориться, когда и как начать операцию, затем подготовить своих охотников, наконец для отвода глаз четверть часа посидеть на отчете кладовщицы. Выйдя, он некоторое время с крыльца любовался закатом, потом, мальчишески усмехаясь, прошел к окну и постучал в раму.

— Лизута!

— Ау! — откликнулась Лизавета и подошла, как была, со стаканом в руке. — Ну что, Коленька?

— Минутку... Теперь все, точка... Просто захотелось поглядеть на тебя при закате.

— Честное слово, жених женихом! — весело засмеялась она, покачав головой. — Лучше-то не выдумал?

— А лучше и некуда! — рассмеялся он.

Кое-как изобразив на лице недовольство, Лизавета плеснула в мужа водою из стакана. Он успел посторониться, шутливо погрозил ей пальцем, вышел за ворота и зашагал по улице.

— Ой, Коля, Коля, стареем и шалим, — прошептала Лизавета.

Размахивая тряпицей, она через окно выгнала мух, прикрыла створку и зажгла лампу. Собрать пыль с подоконников, с лавок, с рундука и с чистого пола на мокрый весть ничего не стоило; и в нагретой за день избе сразу повеяло свежестью. Через несколько минут были застелены чистым бельем обе кровати, возле рукомойника на гвоздях повисли новенькие рукотер и полотенце, в мыльнице заалел свежий кусок мыла. Оставалось накрыть стол кремовой, доставшейся еще в приданое, скатертью, выставить на него голубенькую чайную посуду, налить в самовар колодезной воды и нащепать лучины. Наконец Лизавета отошла к порогу, чтобы от входа оценить свою работу, по-

стояла, обводя взглядом повеселевшее жилье, и закусила губу. «Вот книгочей, — подумала она о муже, — завсегда все перевернуто». Подойдя к полочке с книгами, молодая женщина выровняла их корешки и, обтерев руки фартутом, провела ладонями по рамке висевшего над полкой ленинского портрета.

— Вот теперь пожалуйста, девочки, — снова прошептала она и улыбнулась той улыбкой, которая нравилась мужу.

Лизавета угасила лампу и вышла из избы.

Низко над лесом стояла багровая луна. Как будто опаленные ее пламенем, жались и никли к воде прибрежные кустарники. Безмолвная в своей кажущейся неподвижности, меж кустарниками лежала река; рябая от теней веток и листвы, она была похожа на небрежно разостланный краснопестрый половик. Побуревшие в свете луны деревенские постройки, чудилось, дымились, точно громадные тлеющие головни, время от времени вспыхивая стеклами окон. Молодая женщина видела родную деревню именно такой же летней ночью годов пятнадцать тому назад, когда, подожженный кулаками, горел соседний колхоз. Лизавете все казалось непроницаемо густым: и надречный тальник, и прибрежные заросли мать-и-мачехи, и примолкший лес, и вода в реке, и даже самый воздух. Чувство какого-то застывшего покоя было так сильно, что голоса коростелей, доносившиеся с ближнего поля, и гвалт лягушек на дальнем болоте, обычно раздражающе-громкие в эту пору, едва просачивались к селу, застревая где-то в неподвижном пространстве. Тусклыми долетали и мужские голоса откуда-то с поймы или с мельницы. Лизавета замечала, что так случалось перед исподволь назревающими грозами, и медленным взглядом обвела небосвод, но он был сплошь испещрен звездами.

По привычке обнюхивая пучок сорванной травы, она поднялась от реки к пряслам. Прямо перед нею зубчатой по краям темно-серой лентой вдоль всего Минодориного огорода тянулась тропа. Так же, как приречный тальник, пожухлая и ржавая от багряного света луны, огородная поросль резко пахла черноземом.

Лизавета негромко кашлянула.

— Лизавета Егоровна, пригнитесь, — громко прошептал Арсен, на четвереньках подбегая к пряслу. — Пригнитесь... Здесь, на пригорке, нас далеко видать.

— А что? — спросила она и присела на корточки.

— От плотины вниз по реке идут ребята с неводом, рыбачат. Увидят нас — еще прицепятся что да почему.

Они примолкли и вслушались в голоса рыбаков.

— Подходят, черти базластые!..

— Далеко еще... Ну как, Арсен?

— Часа уж полтора здесь околачиваюсь, все старые частушки перепел и четыре новые сделал про радио и электро.

Сидя на земле, разделенные пряслом, они заговорили полущепотом. Арсен рассказал, что он успел побывать в садике и заглянуть в окошко бани, что в доме темно и тихо, а в бане горит свеча, там что-то делает и бранится сама с собой какая-то тетка.

— Боязно за наших, Лизавета Егоровна... Думаете зря?.. Ничего не зря. Всем ясно и понятно, что револьвер не пикулька. Придет милиция, а он, стервец, возьмет и пластанет, скажем Капу, в самое сердце: мол, шпионка — и точка, и ваших нет... Как вы думаете насчет такого дела?

— Не знаю, Арсен... Милиция-то приехала?

— Двое; лейтенант и седая тетя-мотя. Я из конторы и сюда. Вот-вот придут. Мама уже на крыльце Капу ждет: сноха, слышь, ёж ее заешь!

— Ну и напрасно мать тебе повадку дает. Вытащим мы девку из одной ямины, а ты в другую сшарахнешь, слышь, чего говорю? Сперва они пускай у нас поживут, опамятуются, побои залечат, свет разглядят. Не перегораживай ты ей дорогу своей плотиной, дай на улицу выйти, подруг займеть, да в колхозе во весь рост показаться. Осенью можешь на крупорушку взять — и любитеесь на здоровье. Только сейчас не трожь: утащишь ее домой и потеряешь — сбежит она из Узара, потому что загрызут ее наши девчонки за тебя, за дьявола!

Арсен прыснул со смеху и зажал рот ладонью.

— Ладно, Лизавета Егоровна, — сказал он потом. — Я согласен, ведите их к себе. Пускай до осени поболит моя голова, на ней не сидеть!.. Только я ходить стану, а прогоните — вовек не родня и не видать вам моей свадьбы!

— Попляшу еще, как свахой поеду.

— Ваши бы уши да богу в руки!.. Ну, а теперь я пойду: еще разок пригляжуся, милицию с охотниками встречу и ходы-выходы укажу; Николай Трофимыч велел. А сек-

танточек к вам сюда представляю... Пока, пока, уж ночь недалеко!

Пригибаясь к тропе, он ушел на усадьбу.

Глядя ему вслед, Лизавета подумала: кто же из милиционеров приехал, уж не тот ли, который говорил, что милиция со старухами не воюет. А, собственно, одна ли милиция повинна в том, что столько лет висела здесь эта черная паутина?.. Разве узарцы не догадывались, не знали?.. «А разве Минодора к кому-либо ходила? — спросила себя молодая женщина и рассудила: — Ну, и к ней никто ни за чем не ходил. Кому надо тащиться на гору к богатой гордячке, если у каждого есть ближние и хорошие соседи? Потом ее больная племянница — страшились ненароком увидеть падучий припадок и обходили дом стороной. Да еще наша староверская заповедь: знай сверчок свой шесток. А кто в Узаре не старовер?!»

Вдруг на дворе Минодоры раздался дичайший вопль. Лизавета вскочила. Крик повторился, и к пряслам донеслись довольно четкие слова:

— Прощка!.. Медведь во дворе!

Вслед за женским голосом Лизавета расслышала мужской. «Уж не наши ли явились?» — с надеждой подумала она, перелезая через изгородь, и без опаски направилась к хоромам.

В обители же произошла неожиданность.

До последней крайности настороженная Капитолина решила подслушать разговор пресвитера с Гурием, и то, что она уловила через дверь молельни, тут же подтолкнуло ее к келье Калистрата. Не постучав, чтобы не разбудить проповедницы с Неонилой, девушка вошла и потрясла спящего мужика за плечо:

— Калистрат, вставай, — с силой прошептала она. — Гурий лыжи намазал!

— Убег? — протрещав топчаном, вскочил Калистрат, — убе-е-ег...

— Покуда нет, а сейчас убежит вместе с Кононом... Его бы тебе не в пруд уволочь, а в милицию.

— Эва! — протянул он, широко распахнув желтозубый рот. — Про омут было думано, а про милицию мы не того! Веревка-то вот она, а мешок...

— Ти-х-хо!..

Девушка приоткрыла дверь кельи и проследила, как вышедший из молельни пресвитер на цыпочках прокрался

до дверцы в курятник и, по-волчьи озираясь, полез в нее. «До ветру, знать», — предположила Агапита, наблюдавшая за коридором из своей кельи.

Но она ошиблась; дело было совсем в ином.

Если Гурий, хрипя и слюнявя бороденку, продолжал смаковать свой замысел с прудом, то Конон мучался над загадкой: выдаст их Агафангел или не выдаст? Так и не разгадав загадки, он решил заняться Гурием и повел свою линию.

— Агафангел выдаст, — заявил пресвитер, перебив трескотню Гурия.

— Выдаст?! — вскочил тот. — Проклятый трусик!

— Боюсь, уж не обложены ли мы.

— Чекистом?!..

— Страшусь и за сестру Минодору, э, не в себе она.

— Минодорко сволочь! — выкрикнул Гурий и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу: — А-а, вот оно, гнал меня лесом, болотом грозил. Вот оно, коть так, коть по-другому. Когда я сказал твоим приkode, Минодорко побелел, как мертвяк! Пошто обитель все замки вешали, когда так было? Продался Минодорко, нашим шкуротом откупался, вот что!

Конон опешил; неожиданно для него дело принимало другой оборот. Сгущая краски, он стремился напугать приятеля, выманить в лес, покончить с ним и вернуться под кров Минодоры. Теперь пресвитер перетрусил и сам. В похмельной голове созрел вывод: бесшабашный план диверсии Гурия, его сумасбродные «святые» письма напугали Минодору; она решила порвать с общиной и предаст, а быть может, уже предала, — недаром же прячется целые сутки!.. И недаром бежит Платонида... Нет, к дьяволу Гурия с дороги, к дьяволу!

— Господин Гурилев, надо уходить, — сказал пресвитер.

— Давно пора, лешак, пустим пруд на две курицы!

— Будьте готовы, я сейчас...

Не доверяя здесь больше никому, пресвитер решил сам проверить, безопасен ли выход из двора к речке.

Конон залез в курятник, Агапита осталась начеку.

В эти самые минуты Варёнка закончила работу в бане и направилась в обитель. Подойдя к наружному лазу курятника, дурочка увидела вылезающего изнутри пресвитера — косматое и большебородое чудовище, которого она

здесь никогда не встречала — и в смертельном ужасе завопила, призывая на помощь старика Коровина.

Ее-то вопль и встревожил Лизавету.

Измотанный злобствованием и постоянным страхом, Гурий принял вопль девушки за крик Конона, стремглав вылетел из молельни, кинулся на лестницу к иконостасу и, не разглядев подставленной Капитолиной ноги, грохнулся лбом об окованную дверь.

Калистрат вмиг запеленал его веревкой.

— Пристает пошарьте, — буркнул он помогающим Агапите и Капитолине, потом полез в курятник: — Я за свонным напарником...

Оглушенный столь неожиданным приключением, Конон с минуту стоял над извивающейся в припадке Варёной и, сжимая в пальцах рукоять нагана, озирался по сторонам. Ему чудилось, что на всполошенный крик дурочки к дому Минодоры уже сбегаются люди, что по ту сторону заборов слышится свист травы под их ногами, а в воздухе разносятся грозные голоса, что сам он вот-вот будет схвачен и вместе с Гурием расстрелян за многие преступления, — но что делать?.. Исчезнуть, не возвращаясь в обитель? Тогда Гурий останется в живых и будет мстить или будет арестован и выдаст. Вернуться и покончить с ним в молельне — не одинаково ли здесь или в лесу?.. Но удастся ли тогда скрыться из обители?.. Вздогнув, Конон обернулся на шорох в курятнике, увидел человека и на мгновение оцепенел: убивать собственной рукой пресвитеру еще не приходилось. Затем, не различив при лунном свете незнакомого ему Калистрата от Гурия, он выстрелил в упор и, провожаемый куриным гвалтом, бросился в огород.

Предположив, что стреляют по Арсену, Лизавета ринулась к хоромам. Таившийся в садике парень видел ее словно бы летящею над тропой, слышал, как она крикнула что-то бегущему навстречу ей человеку, но сам крикнуть женщине не успел. Сверкнуло синим, раздался треск, Лизавета взмахнула руками и со стоном рухнула наземь.

Подбежавший Арсен не услышал ее дыхания.

— Лови, ребята! — сумасшедше заорал он появившимся возле прясел рыбакам и сколь было сил пустился за мелькавшей во мгле фигурой Конона. — Лови-и-и, вон он!

— Кого убил? — крикнул на бегу один из рыбаков, и Арсен опомнился: а если она только ранена, кто ей там поможет?..

— Лизу Юркову! — все-таки откликнулся он, потом во все легкие прокричал вслед рыбакам: — Это сектант, ребята!.. Не теряйте его из виду! Сейчас помощь будет!

Когда запыхавшийся парень вернулся в огород, над Лизаветой хлопотали Калистрат и Капитолина. С пробитым пулею плечом мужик выбежал сюда в погоне за Кононом, а девушка кинулась искать здесь Арсена, чтобы сказать ему о происшествии в подвале; один вслед за другим они натолкнулись на стонавшую молодую женщину и теперь снимали с нее мокрую от крови кофточку.

Кое-как выслушав рассказ Капитолины, что в доме осталась Агапита, вооруженная пистолетом Гурия, парень распорядился:

— Перевязывайте... Я сейчас!

На улице он встретил лейтенанта и охотников.

— Товарищ Юрков, — позвал Арсен, — на минутку...

Почти тотчас же возле колхозного амбара торопливо зазвонили в колокол. В ответ набату сначала стоголосо откликнулся лес, потом на конном дворе заржали, чуя тревогу, седлаемые лошади, наконец по всей деревне загомонили люди.

ХII. НЕ ПЕНЯЙ НА ЗЕРКАЛО...

Следователь Надежда Кропотликина, не старая, но седоволосая женщина с полным, румяным лицом и крепким голосом, никак не могла приступить к своим прямым обязанностям. Сперва они с лейтенантом милиции снаряжали узарцев в погоню за Кононом, потом она провожала лейтенанта с арестованными в районный центр, затем распорядилась отправкой Лизаветы с Калистратом в участковую больницу, наконец, печатывала колхозную кладовую и обитель скрытников. Вся ночь прошла в хлопотах, а утром Кропотликина поняла, что начать следствие не с кого, все мало-мальски сведущие в делах узарцы были разосланы по трем направлениям. Следователь записала в протокол вещественные доказательства — стеклянную лестовицу и суковатую палку как орудия истязания; три громадных крапивных мешка как вместилища приговоренных к утоплению; пистолет с патронами, изъятый от Гурия; семьде-

сят семь «святых» писем, найденных в горнице Коровина и в келье Платониды, — и, подойдя к окну, вслушалась в голоса, долетавшие из-под навесика возле амбара.

Среди разноцветных и по-весеннему ярких одежд выделялись, точно елки среди цветущей поляны, две темные — это были платья Агапиты и Капитолины. Со стороны казалось, будто узарские хозяйки щеголяли перед пришельцами из другого мира заранее придуманными хорошими словами.

Кропотливина вышла к толпе.

Узарцы уже знали ее — вместе с нею почти всю ночь были на ногах, многие ходили понятыми в дом Минодоры, все провожали в больницу пострадавших — и перед Кропотливиной расступились, а две девушки предложили ей место на амбарном крылечке.

— Ну, так о чем же толкуем, гражданочки? — спросила она, присаживаясь на крыльцо.

— А все о том же, — ответила за всех Прося. — Век, мол, не жилища будет Лиза Юркова с простреленной-то грудью.

Женщина повела взглядом сперва на Агапиту, стоявшую близ крыльца, поджав руки, потом на Капитолину, прильнувшую плечом к будке сторожа, памятной ей по первой встрече с узарскими колхозниками.

— Так, так, — протянула Кропотливина и снова спросила: — А об этих подружках вы подумали?

— Про Анну-то с Капой? — отозвалась та же колхозница. — Говорим вот... Сами, мол, выбирайте жилье: хоть вон у Проси — только у ней двое ребятишек; хоть к Оксинье — у ней тоже двое, но дом пошире; хоть ко мне — только я стариков докармливаю и троих девчушек рошу. Вон Анфисья Мироновна тоже зовет.

— Богомолка, — проворчала Прося. — Сама в секту собиралась!

— Хоть не собиралась, а молилась, — твердо, но спокойно, чтобы не разжигать ссоры в такой момент, ответила Никониха. — А вот нынче увидела пророка с петушиными шарами да Прохоровы писульки — будя, говорю. Теперь и сам сатана меня в баню со свечой не загонит!

Женщины засмеялись, но глянули в построжевшее лицо Кропотливиной и сконфуженно замолкли.

— Писульки? — обернулась она к Никонихе. — Это не писульки — это яд, змеиный яд... В вашем колхозе сколько

прогулов за неделю?.. Тридцать два?.. В Ашье пятьдесят пять, в Кустищах шестьдесят четыре... Сто пятьдесят один прогул, почти два рабочих дня среднего колхоза — вот вам и писульки!.. А сколько от них вреда уму-разуму?..

Следователя перебила Прося.

— Узнать охота, — занозливо выкрикнула она, — чего это с ними район нянькался?.. Дольше бы надо!

— А вы куда глядели?.. Секта у вас на носу цвела. На зеркальце пеняешь, гражданочка. Дитя не плачет — мать не понимает. На вашем собрании был товарищ Бойцов — а вы сказали ему прямо и откровенно, кого имеете в виду, хотя, как мне известно, тогда уже могли бы перстом указать на Минодору Коровину?

Женщины притихли, но вдруг заговорила бывшая Агаша; заговорила негромко, но внятно:

— Я, чуешь ли, бабоньки, тоже виноватых искала: кто затолкнул меня в секту?.. Оказалось, сама. Вон Капа стоит — товарищ Устюгова, тоже кое-кого виноватила, а виновата опять же сама. Я от дурости, она от трусости. Вот вам и зеркало.

— Факт налицо! — словно проснувшись, и, как показалось женщинам, радостно заявила Капитолина. — Струсил, дура, а теперь каюсь!.. Глядеть надо, на то и шарики во лбу!

— Правда, девка, правда, — авторитетно подтвердила Анфисья Мироновна. — Глядеть надо за всякой всячиной, коли она пророком прикинется. Теперь бы вот шибко охота одного: чтобы наши того врага на цепочку взяли да зубы ему вырвали!

Она повернулась к лесу и долго смотрела из-под ладони в его черноту. Одна за другой туда же обернулись женщины; и если бы кто-нибудь всмотрелся в их глаза так же пристально, увидел бы в них неподдельную тревогу — возьмут ли скрывшегося врага на цепочку, вырвут ли ему зубы?..

